

АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ

КОГДА ЗАТИХАЕТ ЭХО

**ВЕСЬ МИР
В ОГНЕ**

Александр Захаров

Весь мир в огне

«Автор»

2026

Захаров А. В.

Весь мир в огне / А. В. Захаров — «Автор», 2026

«Весь мир в огне» Третья книга серии "Когда затихает эхо". Стать живым ключом к государственной тайне или погибнуть в предвоенном тумане? Июль 1914 года. В Уайтхолле паника: австрийский ультиматум Белграду запущен, Россия объявляет мобилизацию, а британская агентурная сеть на Востоке уничтожена. Профессиональные курьеры исчезают один за другим. Раскрытый в Галиции резидент ставит жесткое условие: он передаст секретные документы Генерального штаба только одному курьеру — своей девятнадцатилетней дочери Лизи. Кабинетный аналитик Лизи и гениальный математик Кембриджа Майлз Кэмпбелл получают фальшивые паспорта брата и сестры и сорок восемь часов на подготовку. Их шпионская миссия — это безумное уравнение с множеством неизвестных. Впереди — проверки на границах, тень слежки в Кёльне, скрытые переходы по лесам и Лемберг, где в стоделе на краю села Шарошпоток их ждет то, к чему министерских клерков никогда не готовили. Они умели считать цифры, но теперь им придется научиться выживать.

© Захаров А. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Отголоски перемен	5
Глава 2. Шагпод дождём	8
Глава 3. Зёрна тревоги	10
Глава 4. Кабинет сэра Блэка	13
Глава 5. Перекрёсток	16
Глава 6. Горящее поручение	21
Глава 7. Парижский вихрь и долгожданная встреча	26
Глава 8. Несколько недель до начала	30
Глава 9. Маска трещит	34
Глава 10. Охота	37
Глава 11. Увеличение ставок	40
Глава 12. На грани	43
Глава 13. Последний акт	47
Глава 14. Расплата	51
Глава 15. Откровения и уроки	55
Глава 16. До следующего раза	60
Глава 17. Возвращение в туман	63
Глава 18. Улей в движении	66
Глава 19. Карл Бреннер	71
Глава 20. Лондон: Рождение миссии	75
Глава 21. Сорок восемь часов	81
Глава 22. Сестра и брат	89
Глава 23. Путь на Восток	94
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Александр Захаров

Весь мир в огне

Глава 1. Отголоски перемен

Посвящается одной маленькой девочке, которая давно уже выросла. Её дыхание — в каждой строке, даже если она этого не замечает. С благодарностью за то, что она есть в этом мире

Лондон, 12 июня 1914 года.

Лизи судорожно втянула воздух. Кончики пальцев, испачканные в чернилах, то и дело срывались, пытаясь запихнуть утренние сводки под тяжелую стопку каталогов. Цифры австрийских закупок по восточному направлению не сходились на триста тысяч крон — разрыв был слишком велик для случайности. Ошибка? Или кто-то намеренно путал следы, выводя эту сумму из-под отчетности?

Она едва успела задвинуть ящик стола, когда щелкнула дверная ручка.

Лизи не повернулась. Она заставила себя расслабить плечи, чтобы не выдать того напряжения, что до сих пор отдавалось дрожью в руках. Её взгляд против воли скользнул к полке со справочниками, где стоял недопитый флакон лекарства отца — тёмное стекло, жёлтая этикетка с аптечным штампом. Отец молчал уже слишком долго, а молчание в их семье никогда не означало покоя.

В прихожей щёлкнул замок. Быстрые лёгкие шаги по лестнице. Два коротких стука, один протяжный — сигнал, который Аннабель не забывала, даже когда забывала всё остальное.

— Лизи! Ты здесь?

Дверь распахнулась прежде, чем она успела ответить. Аннабель вошла — и сразу стало теснее, ярче, шумнее. Светлое муслиновое платье сидело чуть криво, соломенная шляпка держалась на одной шпильке и явно собиралась упасть. В руках она сжимала нарядную коробочку с лентой.

Она остановилась посреди комнаты, быстро огляделась — и сморщила нос.

— Господи, Лизи. Здесь как в читальном зале после закрытия. — Она повела плечом в сторону задёрнутых портьер. — Когда ты последний раз открывала окно?

— Я работаю.

— Ну конечно. — Аннабель закатила глаза с тем артистизмом, который давался ей совершенно естественно. — Ты всегда работаешь. Однажды я приду, а ты сама станешь архивной папкой — пыльной, с номером на корешке.

Она бросила шляпку на стол — та съехала и едва не упала на пол — и протянула Лизи коробочку.

— Держи. Карамель с Бонд-стрит. Не спорь, она лучшая в Лондоне, я проверила лично и потратила на это полдня.

Лизи взяла коробочку. Развернула один конфетный фантик — медленно, аккуратно, как она делала всё. Аннабель уже не стояла на месте. Она прошлась по комнате, задержалась у книжной полки, провела пальцем по корешкам, взяла что-то, поставила обратно. Потом увидела на комод анатомическую модель сердца — небольшую, из крашеного папье-маше, со съёмными частями — и взяла её в руки.

Покрутила. Наклонила в одну сторону, в другую.

— Странная вещица, — сказала она. — Зачем она тебе?

— Осталась от отца.

Аннабель не ответила сразу. Продолжала держать модель, теперь уже без любопытства — просто держала, глядя на неё. Потом провела большим пальцем по гладкой поверхности — там, где папье-маше было чуть шершавым, где краска потрескалась у основания.

— Иногда мне кажется, что ты и сама на неё похожа, — сказала она тихо. — Сложная. Работаешь по каким-то своим правилам, которые никому не объясняешь. — Она подняла взгляд на Лизи. — Я тебя люблю. Но я тебя не всегда понимаю.

Лизи смотрела на неё — на эти серьёзные, чуть удивлённые собственной серьёзностью глаза. Потом перевела взгляд за окно.

— Я сама себя не всегда понимаю, — сказала она.

Аннабель помолчала. Потом поставила модель обратно на комод — аккуратно, двумя руками — и выражение её лица переменилось так стремительно, как умело меняться только у неё: серьёзность растворилась, уступив место чему-то совершенно другому.

— Ах да! — она хлопнула себя ладонью по лбу с преувеличенным ужасом. — Я же совсем забыла, зачем пришла!

Она полезла в кармашек платья, покопалась, достала сложенный листочек. Развернула его с торжественностью человека, зачитывающего королевский указ, откашлялась и прочитала по слогам:

— Ша-рош-по-ток.

Потом уставилась на Лизи, ожидая реакции.

— Мы с бабушкой уезжаем. Она решила, что лондонская духота меня губит, и везёт меня к своей сестре. Двоюродной бабушке, которую я в жизни не видела. — Аннабель обвела комнату взглядом, как будто искала сочувствия у мебели. — Где-то на востоке. Венгрия, предгорья Карпат, яблоневые сады и коровы. Выезжаем дней через десять и там до конца лета.

Она произнесла это последнее так, будто речь шла о ссылке на каторгу, — и тут же прошла по комнате, снова оказалась у комода и взяла модель сердца во второй раз. Но теперь совсем иначе — не с любопытством и не с задумчивостью, а мечтательно, держа её на раскрытых ладонях.

— А вдруг, — сказала она медленно, глядя на модель, — я там кого-нибудь встречу. Какой-нибудь венгерский граф с усами и замком в горах. Или хотя бы просто кто-нибудь, у кого есть глаза и он умеет ими пользоваться. — Она подняла взгляд на Лизи. — Представляешь — настоящее сердце забьётся быстрее. Поцелуй под луной, или даже чуть больше.

Она подмигнула.

— У тебя-то есть твой верный Генри. А у меня до сих пор никого.

Лизи засмеялась — тихо, но по-настоящему. Аннабель тут же подхватила, и несколько секунд они смеялись вместе, как смеялись в детстве — без повода, просто потому что хорошо.

— Помнишь, как мы в Глен-Элби прятались по ночам в библиотеке? — сказала Аннабель, когда отсмеялась, и голос у неё стал теплее. — Ты тогда была ещё тише, чем сейчас. А я — пугливой мышкой с косичками, которая боялась своей тени. — Она покачала головой. — Если бы не твой отец...

Она не закончила. Просто покрутила модель сердца в пальцах последний раз и поставила её на комод — на этот раз не так аккуратно, немного криво.

Потом крутнулась у двери, на ходу подхватила шляпку со стола и нахлобучила её на голову, не глядя в зеркало.

— Ладно. Мне пора. Бабушка ждёт, и если я опоздаю, она прочитает мне лекцию о пунктуальности, а я её уже слышала четырнадцать раз. — Она махнула рукой. — Не закрой тут без меня, Лизи. И открой наконец окно.

Дверь захлопнулась. Шаги по лестнице — быстрые, лёгкие, — потом входная дверь, и тишина.

Лизи постояла у окна. Подошла к столу.

Среди бумаг лежал маленький листочек — Аннабель забыла. На нём круглым аккуратным почерком было написано одно слово.

Лизи взяла листочек в руки. Прочитала вполголоса, по слогам:

— Ша-рош-по-ток.

За окном лип качалась ветка — медленно, туда и обратно. Лизи смотрела на неё и думала об отце. О флаконе на полке. О том, что до сих пор не убрала его.

Уголки её губ едва заметно дрогнули.

Глава 2. Шагпод дождём

Лондон, июнь 1914 года

Лизи спустилась по каменным ступеням дома на Гранвилл-Гарденс, плотнее запахивая лёгкое летнее пальто из тонкой шерсти. Она привычно проверила, хорошо ли застёгнута брошь на воротнике — маленькая серебряная вещица, которую отец подарил ей перед отъездом в Константинополь. Такие броши в те годы носили не только для красоты: они часто служили тайниками для крошечных записок или даже капсул с ядом — на крайний случай. Лизи научилась этому ещё в пансионе.

У кованой ограды её уже ждал Генри. Высокий, чуть сутулый, в привычном твидовом костюме, который он надевал по особым случаям. В одной руке — зонт с тяжёлой деревянной ручкой, другая спрятана в кармане. Он выглядел так, будто готов был ждать сколько угодно, но Лизи сразу заметила, как напряжённо он переминается с ноги на ногу — верный признак волнения.

— Ты опоздала, — сказал он, и в этом спокойном упреке слышалось неприкрытое облегчение.

— Или ты слишком рано пришёл, — тихо ответила она, подходя ближе.

Генри протянул ей второй зонт — добротный, с металлическим каркасом, какие в Лондоне продавали в магазинах на Оксфорд-стрит специально для переменчивой погоды. Лизи покачала головой.

— Не нужно. Мне нравится чувствовать дождь на лице. Он напоминает, что я ещё здесь.

Генри хотел возразить, но сдержался. Они пошли рядом. Шаги по мокрому тротуару звучали глухо. Свернули в сторону Темзы, мимо рядов газовых фонарей, которые уже начали зажигать фонарщики — мальчишки в потрёпанных куртках, ловко орудующие длинными шестами с огнём на конце. В 1914 году электричество ещё не добралось до всех улиц; газ оставался основным источником света, и его слабое жёлтое мерцание придавало вечерам особый, старомодный оттенок.

— Я рад, что ты вернулась, — произнёс Генри после долгой паузы. — По-настоящему рад.

Лизи кивнула. Ответить было нечего. Она не могла рассказать ему, что последние месяцы провела не просто «в поездке», а в мире, где каждое слово может стоить жизни, а каждое донесение — изменить карту Европы.

— Мне было пусто без тебя, Лиз, — продолжил он чуть тише. — Я даже писал тебе несколько раз. Длинные письма. Потом рвал.

— Но не отправил, — закончила она за него.

Генри не стал отпираться. Он всегда боялся быть для неё обузой. В его мире — мире булочной на Клеркенвелл-роуд, где отец с утра до вечера месил тесто, а мать вела счета в большой гроссбухе — всё было понятным и надёжным. Там не существовало секретных отделов Министерства иностранных дел, шифров и отчётов с Балкан.

— Ты будто смотришь сквозь людей, Лизи, — сказал он вдруг, когда они проходили мимо аптеки с большими стеклянными шарами в витрине, наполненными цветной жидкостью — старый способ рекламировать лекарства. — Как будто решаешь: стоит ли вообще смотреть.

Она остановилась. Повернулась к нему. Их взгляды встретились под светом очередного газового фонаря.

— А ты хочешь, чтобы я остановилась? — спросила она прямо.

Генри выдержал взгляд.

— Я всегда этого хотел, — ответил он. — Хотел, чтобы ты была просто здесь. С нами. С моей семьёй. Чтобы мы ходили на воскресные обеды, как раньше. Чтобы ты помогала матери с рецептами или просто сидела в лавке и пробовала свежий хлеб.

Лизи едва заметно усмехнулась — не весело, а с лёгкой горечью. Она представила себе эту картину: она за прилавком булочной Бэнксов, в фартуке, с мукой на руках. Ещё год назад это казалось возможным. Теперь — почти нелепым.

Они пошли дальше. Мимо закрытых уже лавок, где за прилавками ещё недавно торговали чаем из Индии и хлопком из Египта — товарами, которые теперь могли исчезнуть в любой момент из-за надвигающегося кризиса.

На мосту Лизи снова остановилась, опершись о чугунные перила. Такие мосты строили ещё при королеве Виктории — прочные, тяжёлые, рассчитанные на века и на тысячи экипажей в день.

— Мне казалось, — сказал Генри, подходя ближе, — что если мы встретимся снова всё станет понятнее. Или ты изменишься. Или я. Или хотя бы между нами станет проще.

Лизи не обернулась.

— Проще становится только то, чему позволяешь быть простым, — ответила она. — А есть вещи, Генри, которые я не готова упрощать. И ты это знаешь.

Он смотрел на её спину. Знал, что нельзя сейчас тянуть её за руку. Нельзя заставлять обернуться.

— Ты изменилась, — сказал он наконец. — После той поездки. После того чего ты мне так и не рассказала. Я это вижу. Но хуже всего — я больше не знаю, как тебя вернуть. Или, может быть, того, кого я пытаюсь вернуть, уже нет.

Лизи закрыла глаза на секунду, собираясь с силами. Потом медленно повернулась. Улыбнулась — но улыбка вышла грустной, почти прощальной.

— А ты стал терпеливым, Генри. Даже слишком терпеливым.

Он кивнул. Голос его слегка охрип:

— Потому что ты стоишь того, чтобы ждать. Даже если ждать придётся долго.

Между ними осталось всего несколько дюймов. Лизи смотрела ему в глаза — те же, в которые когда-то смотрела с надеждой на обычную жизнь. Теперь в них отражалась только её собственная усталость и груз, который она не могла разделить.

Генри затаил дыхание. Ждал.

— До завтра, Генри, — сказала она тихо.

Повернулась и пошла прочь. Не оглянулась ни разу.

Он остался стоять под дождём. Один. Капли стучали по зонту. В какой-то момент он понял: она может уйти навсегда. Не физически — она будет где-то рядом. Но уже не с ним. И он ничего не сможет с этим сделать.

Лизи шла по мокрым улицам, почти не чувствуя холода. Только тяжесть внутри. Боль и странный, холодный страх — не за Генри, а за себя. За то, что мир, в который она уже вошла, больше не отпустит. Что назад дороги действительно нет. И что именно сегодня, на этом мосту, она это окончательно осознала.

Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Эта боль была ничем по сравнению с той, что грызла её изнутри уже несколько месяцев.

Глава 3. Зёрна тревоги

Лондон, июнь 1914 года

Аналитический отдел Министерства иностранных дел жил по своим правилам — неспешным, устоявшимся, как осадок на дне старой чернильницы.

Высокие потолки с лепниной, тяжёлые дубовые столы, зелёные суконные лампы с латунными абажурами. Ряды деревянных картотечных шкафов вдоль стен — каждый ящик с медной табличкой: «Balkans», «Central Powers», «Colonial Intelligence», «Naval Estimates». Запах здесь стоял особый: старая бумага, чернила и табак из курительной комнаты в конце коридора — всё это смешивалось в нечто постоянное, почти неотделимое от самого воздуха.

Лизи сидела за своим столом во втором ряду, между мистером Финчем и мисс Смит, и просматривала утреннюю почту. Обычный конверт из крафт-бумаги, запечатанный сургучом, лежал поверх остальных — с пометкой в углу, которой она раньше не видела.

Она взяла костяной нож и вскрыла его аккуратно, по привычке не торопясь.

За соседним столом мистер Финч — сухошавый, лет сорока пяти, с аккуратными седеющими усами и вечно красным носом — сидел, склонившись над гроссбухом, и водил линейкой по колонкам цифр. Чашка кофе стояла рядом нетронутой — он всегда о ней забывал.

— Мисс Смит, — не поднимая головы, произнёс он, — последние данные по румынским поставкам зерна у вас?

Мисс Смит — маленькая, энергичная, с острым подбородком и пенсне на тонкой золотой цепочке — громко шмыгнула носом и перекинула ему лист через стол.

— Вот, смотрите сами. Они пишут — шесть тысяч тонн в Австро-Венгрию. По нашим данным — четыре с половиной. Куда делись полторы тысячи?

Финч взял бумагу, сверил.

— По дороге «потерялись». — Он отложил лист. — Как всегда в этих краях.

— А я вам скажу, что именно потерялось, — мисс Смит перегнулась через стол и снизила голос с той особой интонацией, которую она приберегала для важных наблюдений. — Это не ошибка писаря и не румынские свиньи. Австрийцы скупают зерно сверх нормы уже третий квартал. По всему восточному направлению. Сербия, Галиция, Карпаты. Смею заметить, что армия питается хлебом, а не воздухом.

Финч поднял взгляд.

— Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, что если сложить эти цифры с теми данными о передвижении гарнизонов, которые пришли на прошлой неделе из Варшавы, — она постучала пальцем по папке, — то картина получается довольно неприятная. Но это уже не наш отдел. — Она снова взяла свою папку и открыла её с видом человека, закрывающего неудобную тему. — Наше дело — считать тонны.

Финч хмыкнул и вернулся к гроссбуку.

— А я говорю: пока кайзер и царь меряются флотами, нам остаётся следить, чтобы наши корабли ходили. Остальное — политика.

Лизи слышала их. Но слова проходили мимо — фоном, как стук машинок и запах кофе. Она читала.

И остановилась.

Группы символов на листе складывались в знакомый ритм — тот, который она научилась узнавать раньше, чем осознавала. Она перевернула страницу. Сравнила с предыдущей. Потом взяла следующий лист и положила рядом.

Под рёбрами что-то медленно сдвинулось.

Это был его шифр. Тот самый, который отец использовал только в одном случае — когда обычные каналы были закрыты или ненадёжны.

Внешне она не изменилась. Привычным движением прикрыла листы чистым бланком. Достала из ящика маленький блокнот в потёртой тёмной обложке — тот, который всегда был при ней, — и начала работать.

Строка за строкой.

Первое, что она поняла: он жив. Это читалось в самой структуре текста — живой человек пишет иначе, чем пишут за него. Второе: сообщение было отправлено не через стандартный канал. Третье: он торопился. Это чувствовалось в пропущенных разделителях, в сжатых блоках — он убирал всё, что можно убрать, оставляя только суть.

Фрагменты маршрутов. Передвижения гарнизонов в глухих районах Галиции — не плановая ротация, а что-то другое, сдвинутое влево по срокам. Кодовые обозначения, которых она раньше не встречала. Возможно — новые. Возможно — чужие.

Лизи перечитала один абзац трижды. Потом ещё раз — медленнее.

Что ты хочешь мне сказать, папа. Что именно я должна увидеть.

— Мисс Ватсон, вы сегодня необычайно молчаливы, — подала голос мисс Смит, перекладывая очередную папку. — Снова эти балканские сводки?

Лизи подняла взгляд и слабо улыбнулась.

— Похоже, они и сами не знают, когда успокоятся.

Финч передернул плечами, словно стяхивая нелепость услышанного.

— Им незачем знать. Главное — чтобы знали мы.

Лизи кивнула. Опустила взгляд обратно на бланк.

Картина не складывалась — не потому что данных было мало, а потому что чего-то не хватало. Какого-то ключевого элемента, без которого остальное оставалось набором не связанных между собой фрагментов. Отец никогда не рисковал по мелочам. Если он использовал этот канал — значит, то, что он хотел передать, не могло ждать.

Она подумала о Генри. О том, как вчера оставила его на мосту под дождём — его терпеливый, чуть растерянный взгляд вслед. Он ничего не сказал. Просто стоял и смотрел. Это было хуже, чем если бы он упрекнул её в чём-то.

Но сейчас она не могла думать о мосте.

К концу дня большинство сотрудников разошлись. Финч ушёл первым — с неизменной точностью человека, у которого дома ждут к ужину. Мисс Смит задержалась, закрыла гроссбук, надела пальто и остановилась у двери.

— Не засиживайтесь, мисс Ватсон. Завтра снова будет много работы.

— Конечно, — сказала Лизи. — Спокойной ночи.

Дверь закрылась.

Она подождала ещё несколько минут — пока в коридоре затихли последние шаги. Потом быстро, аккуратно переписала ключевые фрагменты сообщения в свой блокнот — только группы символов, без полных текстов, без указания источника. Конверт убрала обратно в общую стопку так, чтобы он не выделялся.

Это было нарушением. Серьёзным. Вынести даже копию — значило нарушить правило, за которым следили строго. Она знала это. И всё равно убрала блокнот во внутренний карман.

Отец никогда не стал бы рисковать по мелочам.

Она вышла из Министерства одной из последних. На улице Лондон жил своим привычным вечером — кэбы, газетчики с заголовками о скачках в Аскоте, запах жареных каштанов от лотка на углу. Никто вокруг не выглядел человеком, которого беспокоит что-либо серьёзнее завтрашней погоды.

Лизи шла и думала о зерне. О полутора тысячах тонн, которые «потерялись» по дороге. О гарнизонах, сдвинутых влево по срокам. О том, что мисс Смит — при всей своей привычке закрывать неудобные темы — была права.

Армия питается хлебом, а не воздухом.

Дома она заварила чай и не притронулась к нему.

Сидела у окна с блокнотом и чистыми листами. Час за часом перебирала скопированные символы, раскладывала их по блокам, искала повторяющиеся паттерны. За окном Гранвилл-Гарденс постепенно темнела — сначала стали невидимы деревья, потом ограда, потом просто за стеклом стало темно, и она увидела в нём своё отражение.

Фрагменты маршрутов. Перемещения. Кодовые обозначения. Всё это выглядело важным и неполным одновременно — как карта с вырванной серединой.

Чего-то не хватало.

Она отложила карандаш. Откинулась на спинку кресла и закрыла глаза.

Отец сказал ей это ещё в начале её службы, когда она едва освоилась в отделе и всё происходящее казалось ей сложной, но увлекательной игрой: «Если я когда-нибудь передам тебе весточку таким способом — знай, дело скверное. И значит, рядом больше никого не осталось».

Она открыла глаза и посмотрела на отражение в окне.

Она пошла на должностной проступок. Если кто-то узнает — это может стоить ей работы. Или чего-то большего. Но оставить конверт в общей стопке и сделать вид, что не заметила — она уже не могла.

Блокнот лежал перед ней на столе. Она снова взяла карандаш.

Начнёт искать. Тихо. Осторожно. Методично.

Пока — не зная точно, что именно.

Глава 4. Кабинет сэра Блэка

Лондон, 18 июня 1914 года

Лизи стояла на противоположной стороне улицы от Министерства уже двадцать минут.

Она знала это точно — часы на углу Кинг-Чарльз-стрит пробили половину девятого, когда она остановилась, и с тех пор она не сдвинулась с места. Люди огибали её, не замечая — ещё одна молодая женщина с папкой у правительственного здания, ничего примечательного.

Ремешок сумочки она поправила уже раз пять. Это не помогало.

Если я войду и скажу то, что задумала — меня могут просто отстранить. А если начнут проверять, откуда у меня эти выводы, — тогда хуже.

Она снова прокрутила в голове то, что читала ночью. Блокнот лежал во внутреннем кармане и почти физически давил на рёбра. Символы, которые она успела переписать, она знала наизусть — они крутились в голове с трёх часов ночи, когда она наконец закрыла глаза, так и не расшифровав до конца.

Но главное она поняла. Это был его почерк. Не метафорически — буквально: ритм блоков, способ разделения групп, одна маленькая особенность в построении числового ряда, которую отец выработал сам и которой не учил никого, кроме неё.

Он использовал этот канал только в одном случае — когда обычные пути были закрыты.

Если я промолчу и окажусь права — мы можем опоздать. Если я скажу и окажусь неправа — потеряю место. Одно из двух.

Она перешла улицу.

Лестница на второй этаж давалась тяжелее, чем обычно. Не потому что крутая — она поднималась по ней каждый день. Просто сегодня каждый пролёт был отдельным решением.

Перед массивной дубовой дверью с медной табличкой «*Sir Black*» она остановилась. Постояла. Пальцы на папке были холодными.

Постучала дважды — чётко, не давая себе времени передумать.

— Войдите.

Кабинет сэра Блэка она не любила.

Не из-за его хозяина — к сэру Блэку она относилась с тем уважением, которое не требует симпатии. Просто сам кабинет был устроен так, чтобы человек напротив стола чувствовал себя меньше. Высокие потолки, голые стены с картами Европы в тяжёлых рамах, бюсты римских императоров на полках — все с одинаковым выражением людей, которых история уже рассудила. На столе — идеальный порядок: три стопки бумаг, пресс-папье, чернильница. Ничего лишнего.

Сэр Блэк сидел за столом, не поднимая головы. Сухой мужчина лет шестидесяти, прямой, как линейка. Очки съехали на кончик носа.

— Мисс Ватсон.

Лизи подошла и встала напротив. Ноги она чувствовала плохо.

— Сэр. Прошу прощения за то, что прихожу без записи. Но я хотела бы доложить по материалам, которые поступили в отдел на этой неделе. По балканскому направлению.

Сэр Блэк отложил перо. Снял очки. Посмотрел на неё — долго, оценивающе, как смотрят на человека, когда ещё не решили, стоит ли тратить время.

— Продолжайте.

Лизи открыла папку. Начала говорить — сначала осторожно, потом всё ровнее, потому что факты были с ней, а факты не дрожат.

Изменения в маршрутах снабжения — не плановые, не сезонные, а сдвинутые влево по срокам без объяснений. Поставки фуража и пайков в районы, где не было никаких учений по

расписанию. Повышенная активность курьеров в секторах, которые последние полгода считались тихими. Объёмы закупок зерна австрийцами по восточному направлению, которые мисс Смит заметила ещё три дня назад и которые не вписывались ни в какую мирную логику.

Сэр Блэк слушал. Пальцем постукивал по краю стола — раз, другой, третий. Это был его единственный жест внимания, и Лизи знала: пока он стучит, он слушает.

Она дошла до главного.

— Кроме того, сэр. — Она остановилась на секунду — не от нерешительности, а потому что следующее слово меняло всё. — Я практически уверена, что одно из сообщений в этом пакете пришло по нестандартному каналу. Я узнала характерный стиль передачи. Это сообщение от моего отца.

Палец перестал стучать.

Сэр Блэк смотрел на неё — и в этом взгляде что-то переменялось. Не сочувствие. Скорее — охлаждение, как когда в комнате открывают окно.

— Ватсон, — произнёс он ровно. — Вы пришли ко мне с докладом потому, что беспокоитесь об отце.

— Нет, сэр. — Лизи почувствовала, как щёки потеплели, но голос удержала. — Я пришла потому, что он использовал канал, которым пользуется только в крайних случаях. Это не семейное беспокойство — это профессиональное наблюдение. Стиль, выбор времени, структура шифровки — всё это вместе указывает на то, что сообщение требует внеочередного внимания. Я прошу вас посмотреть на данные, сэр. Не на моего отца.

Сэр Блэк поднялся. Медленно, как поднимаются люди, у которых уже есть ответ и они дают себе время его оформить.

— Мисс Ватсон, — произнёс он, и в голосе его не было ни раздражения, ни жёсткости — только та ровная усталость, которая хуже обоих, — ваши наблюдения по Балканам я принял к сведению. Это полезно. Но когда аналитик начинает видеть закономерности там, где у него есть личный мотив их видеть, — это не наблюдение. Это желание. — Он взял очки и снова надел их — жест закрытия. — Возвращайтесь к своим обязанностям. Материалы по Галиции направьте в сводный отдел стандартным порядком.

— Сэр, — сказала Лизи, сделав шаг вперёд. Один шаг вперёд — небольшой, почти незаметный. — Вы сами говорили нам, что настоящая аналитика начинается там, где другие видят рутину. Здесь есть несостыковки. Слишком системные для совпадения. Если мы сейчас отправим эти материалы в общий поток — они утонут. Дайте мне возможность проработать их дополнительно. Я готова делать это параллельно с основными обязанностями, без лишних ресурсов.

Сэр Блэк посмотрел на неё поверх очков. Долго — дольше, чем до этого. Во взгляде было что-то, что она не умела читать: не одобрение, не раздражение, а что-то третье — то, что бывает, когда человек видит больше, чем говорит.

— Когда молодой аналитик настаивает сверх меры, — сказал он наконец, — это либо интуиция, либо упрямство. — Он снова взял перо. — В вашем случае я ещё не решил, что именно. Возвращайтесь, мисс Ватсон.

Разговор был окончен.

В коридоре Лизи остановилась у высокого окна.

За стеклом Кинг-Чарльз-стрит жила своим утренним ритмом — кэбы, чиновники со свёртками бумаг, голубь на карнизе напротив, который сидел и никуда не торопился.

Она не плакала. Просто стояла и смотрела на голубя, пока дыхание не выровнялось.

Он её не услышал. Это было ясно.

Но последнее, что он сказал — *«я ещё не решил»* — она держала в голове, как держат монету, которую пока не знают, куда потратить. Это был не отказ. Это была отсрочка. А отсрочка — не конец.

Она поправила ремешок сумочки. Спустилась по лестнице. Вернулась на своё место во втором ряду между Финчем и мисс Смит, открыла папку и взяла карандаш.

Материалы по Галиции она в сводный отдел не отправила.

Пока — нет.

Глава 5. Перекрёсток

Лондон, конец июня 1914 года

Дни после разговора с сэром Блэком тянулись вязко.

Лизи приходила в Министерство к восьми, садилась на своё место между мистером Финчем и мисс Смит, раскладывала папки в привычном порядке. Всё было как прежде. И именно это «как прежде» давило сильнее любого упрёка.

Она работала. Аккуратно, методично, без лишних движений. Но за этой внешней осторожностью шла другая работа — тихая, почти нелегальная. Каждую свободную минуту, когда Финч уходил в курительную, а мисс Смит принималась разбирать почту, Лизи ныряла в архивные папки. Не в те, что лежали на её столе по службе, а в другие — полугодовые сводки по Галиции, транспортные отчёты с австрийских железных дорог, донесения об активности в Перемышле.

Никто не обращал на это особого внимания. Аналитики и должны быть в бумагах.

Картина складывалась медленно — как пазл, из которого убрали несколько деталей в самом центре. Необычные объёмы закупок консервированного мяса и сухарей в приграничных районах. Маршруты, которые в мирное время вели к учебным лагерям, теперь уходили дальше, в глухие районы с плохими дорогами. И молчание отца, которое давно перестало казаться ей просто оперативной заминкой.

Пришёл отчёт с пометкой «Ласточка» — короткий сигнал, что отец добрался до назначенного места. Лизи прочитала его трижды. Но больше ничего не было. Ни маршрута, ни цели. Просто — жив.

Она убрала отчёт в шкаф и взяла очередную таблицу румынских поставок зерна.

Вечером мисс Смит отложила перо и посмотрела на Лизи поверх пенсне.

— Вы сегодня обедали?

— Да, — солгала Лизи.

Мисс Смит хмыкнула. Через несколько минут молчания поставила перед ней блюдо с двумя имбирными печеньями — теми, что держала в ящике стола на случай затяжных рабочих вечеров.

Лизи посмотрела на печенье. Потом — на мисс Смит: узкую, суховатую, с вечно прямой спиной и взглядом человека, который замечает именно то, что нужно, и никогда не говорит об этом вслух.

— Спасибо, — тихо сказала Лизи.

— Ешьте, — ответила мисс Смит, уже снова читая газету. — И ложитесь пораньше. От недосыпа цифры начинают прыгать.

Больше она ничего не сказала. Но Лизи почувствовала от этих слов больше тепла, чем от иных пространственных разговоров.

Генри ждал её у чугунной ограды — как всегда, чуть раньше условленного времени. В одной руке — сложенная газета, в другой — зонт, хотя небо ещё светилось. Он улыбнулся, увидев её, — той привычной улыбкой, немного осторожной, которая говорила: *я здесь, я рад, и я не буду ни о чём спрашивать первым.*

— Опять задержалась, — мягко сказал он.

— Бумаги.

Он кивнул. Давно уже перестал уточнять, какие именно.

Они пошли в сторону Клеркенвелл. Вечерний Лондон жил своей неторопливой жизнью: фонарики брались за шесты, из открытых дверей пивных тянуло табаком и смехом. На углу

Хай-Холборна мальчишка-газетчик выкрикивал что-то про австрийский ультиматум, но никто вокруг особо не реагировал. Балканы были далеко.

— Мама сегодня пекла яблочный пирог, — сказал Генри. — Специально для тебя.

— Она меня балует.

— Она тебя любит. Это разные вещи, хотя иногда похожи.

Лизи посмотрела на него сбоку. Такие фразы Генри говорил не задумываясь — просто потому, что так было. Без скрытого смысла, без желания произвести впечатление. Именно это в нём было самым ценным.

Булочная «Золотой хлеб» на Клеркенвелл-роуд была одним из тех мест, которые кажутся вне времени. Тёмно-красный кирпич, широкая витрина с буханками на деревянных подставках, жестяной знак в форме пшеничного снопа над дверью. Запах внутри — тёплый, дрожжевой, с нотками корицы и поджаристой корочки — был из тех, что невозможно придумать и невозможно забыть.

Мистер Арчибалд Бэнкс стоял за прилавком — невысокий, широкоплечий, с натруженными руками, посыпанными мукой. Он с серьёзным видом объяснял пожилому покупателю разницу между ржаным хлебом на закваске и пшеничным на дрожжах. Приветствовал Лизи коротким кивком — уважительным, без лишних слов.

— Лизи! — миссис Эвелин Бэнкс вынырнула из-за занавески, вытирая руки о льняной передник. Живая, разговорчивая, с тёплыми карими глазами и привычкой обнимать людей, не спрашивая разрешения. — Наконец-то! Я уже думала, твоё Министерство совсем тебя не выпустит. Генри, что ты позволяешь ей так задерживаться?

— Я не позволяю, мама, — серьёзно ответил Генри. — Она сама решает.

— Вот именно, что сама. — Миссис Бэнкс взяла Лизи за локоть и повела наверх. — Пирог ещё тёплый. И чай свежий. С молоком?

— Пожалуйста.

Небольшая гостиная на втором этаже была именно такой, какими бывают комнаты в домах, где живут дружные семьи: немного тесной, немного разнородной. Стол из тёмного дуба, кресла с вытертыми подлокотниками, комод с фарфоровыми статуэтками — их никто уже не замечал, но никто и не убирал. На подоконнике цвела герань. Пахло пирогом и полиролью для дерева.

Лизи опустилась в кресло у окна. Генри устроился напротив с газетой. Миссис Бэнкс поставила перед Лизи большую кружку чаю и кусок яблочного пирога.

— Совсем не ешь, наверное. Ешь.

Пирог был хороший — яблоки оставались собой: чуть кисловатые, с корицей, под тонкой хрустящей корочкой. Лизи съела кусок, не заметив этого.

Мистер Бэнкс поднялся из лавки и занял место во главе стола.

— Нам тут поставщик из Эссекса предложил новую пшеницу. Говорит — урожай в этом году отменный. Но цену задрал.

— И что? — спросил Генри, не отрываясь от газеты.

— Дал образец. Испёк. Хлеб хороший, но не лучше нашего обычного. Незачем переплачивать.

Миссис Бэнкс молча подвинула Лизи второй кусок пирога. Лизи хотела отказаться — и не стала.

Разговор тёк своим чередом: новый поставщик, соседка с третьего этажа, у которой заболел кот. Всё это было так далеко от Галиции и маршрутов воинских эшелонов, что Лизи почувствовала странное головокружение — как будто она одновременно находилась в двух мирах, которые никак не пересекались.

Мальчишку-газетчика услышал первым мистер Бэнкс.

Тот кричал где-то внизу — высоким, надрывным голосом, каким кричат, когда новость слишком горячая, чтобы ждать. Слов ещё не было слышно, только ритм: «Экстра, экстра!»

— Что там? — мистер Бэнкс отложил вилку.

— Может, суфражистки опять что-то устроили, — предположила миссис Бэнкс, не поднимая взгляда от вязания. — На прошлой неделе в Гайд-парке такой шум подняли — наш кот два дня из-под дивана не выходил.

— Иду посмотрю, — сказал Генри, поднимаясь.

Он вернулся через несколько минут. В руках — вечерняя газета. Лицо обычное, нейтральное, чуть задумчивое. Сел. Развернул газету.

— «В Сараево убит эрцгерцог Франц Фердинанд. Наследник австро-венгерского престола застрелен вместе с супругой. Убийца — сербский националист, девятнадцать лет».

В комнате стало тихо.

— Вот те на, — произнёс наконец мистер Бэнкс. Взял вилку, но есть не стал. — Опять балканские дела.

— Господи, — миссис Бэнкс отложила вязание. — Бедная женщина. Я видела её фотографию в журнале. Говорят, он женился на ней вопреки воле двора.

— Это политика, Эвелин, — поморщился мистер Бэнкс. — Не роман. Националисты, анархисты — там этого добра всегда хватало. Пошумят, сербы извинятся, и всё успокоится. Нам, слава богу, до этого нет дела.

Он снова взял вилку.

Лизи не пошевелилась.

Только пальцы, которые держали край скатерти, побелели — незаметно, под столом.

Снаружи доносилось: «Убийство в Сараево, убийство в Сараево!» — и прохожие останавливались, брали газеты, пожимали плечами и шли дальше.

В её голове одна за другой вставали на места детали. Маршруты, которые не сходились. Закупки пайков. Перемещения гарнизонов. Молчание отца. И — совсем маленькая строчка из одного донесения, которую она тогда пропустила: *«Визит наследника в Сараево запланирован на конец июня, меры безопасности минимальны».*

Она пропустила её.

— Лизи, ты побледнела, — голос Генри был тихим. — Тебе нехорошо?

Она подняла взгляд. Он смотрел на неё с той особенной мягкостью, которая бывает у людей, когда они чувствуют — что-то не так, но не знают, как спросить.

— Всё хорошо. Просто задумалась.

— Из-за этих новостей? — удивилась миссис Бэнкс. — Ну, конечно, погиб человек — это ужасно. Но ты-то тут при чём, дорогая?

— Да, — согласилась Лизи. — Далечно.

Она тихо положила вилку.

— Простите. Мне нужно идти.

Миссис Бэнкс всплеснула руками:

— Как это? Ты почти не ела!

— Я правда должна. Простите.

Мистер Бэнкс нахмурился, но смолчал — он умел уважать чужое «нет».

Генри уже стоял рядом с пиджаком.

— Я провожу.

На улице пахло пылью и первыми каплями дождя. Газетчик стоял на углу, голос у него охрип, но он продолжал. Несколько мужчин у паба обсуждали новость тоном людей, говорящих о чём-то далёком и не очень понятном.

Они шли рядом. Генри молчал — деликатно, предоставляя ей пространство.

— Это важно, — сказала она наконец. — То, что произошло сегодня.

— Важно?

— Это не просто убийство одного человека. — Она говорила тихо, почти себе под нос.
— Это камень, который падает в воду. Круги пойдут далеко.

Он немного помолчал.

— Ты думаешь о своей работе.

— Да.

— И рассказать не можешь.

— Нет.

— Понятно, — сказал он без обиды.

Они дошли до её двери. Лизи достала ключ — маленький, кованный, с витой головкой. Поднесла к замку и остановилась.

Генри стоял на шаг позади. Не торопил.

Она думала о Сараево. О донесениях. Об отце, который молчит слишком долго. О том, что мир за этой дверью — её гостиная, чернильница на столе, блокнот с записями — это её настоящая жизнь. Не яблочный пирог, не тёплый свет у Бэнксов, не этот человек за спиной, который любит её тихо и преданно.

Я не имею права, — привычно начала она.

И поняла, что устала от этой фразы.

Она медленно обернулась.

Генри смотрел на неё — не с надеждой, он давно научился не надеяться слишком открыто. Просто смотрел. Чуть сутулый, в твидовом пиджаке, с каплями дождя на плечах. Такой обычный. Такой настоящий.

Лизи сделала шаг к нему.

Взяла его лицо обеими руками — ладони легли на щёки, чуть шершавые после рабочего дня, тёплые — и поцеловала его.

Это был её выбор. Первый раз в жизни — её, а не чей-то ещё.

Генри замер на долю секунды — от неожиданности, от того что не поверил, — а потом его руки осторожно легли ей на плечи. Не сжал, не притянул. Просто держал — как удерживают что-то, что наконец само пришло в руки.

Поцелуй был недолгим.

Когда она отстранилась, он не отпустил её сразу. Несколько секунд они стояли так — совсем близко, его руки всё ещё на её плечах. Она слышала, как он дышит — чуть быстрее обычного.

— Лизи — начал он тихо.

— Не надо, — так же тихо сказала она. — Не спрашивай. Просто запомни это.

Он помолчал. Потом кивнул — медленно, серьёзно.

— Запомню.

Она нашла его руку, на секунду сжала пальцы — и отпустила.

Вернулась к двери. Ключ вошёл в замок, щёлкнул. Она посмотрела через плечо — коротко, последний раз.

Генри стоял под дождём и смотрел на неё. На его лице не было ни торжества, ни ожидания. Только что-то тихое и глубокое — то, что не нуждается в словах.

Она вошла. Закрыла дверь.

В тёмной прихожей Лизи прислонилась спиной к холодному дереву. Губы ещё помнили тепло его щетины. Ладони — тепло его щек.

Она простояла так несколько секунд. Потом прошла в гостиную, зажгла лампу и достала из ящика блокнот.

Сараево. Наследник. Сербский националист. Убийство, которое два часа назад казалось всем просто трагической новостью с беспокойных Балкан.

Но она видела нити, которые тянулись из этой точки во все стороны сразу — в Вену, в Петербург, в Берлин. Видела, потому что читала донесения. И потому что пропустила одну строчку, которую не должна была пропустить.

Отец был где-то там. В том самом пространстве, которое сейчас начинало гореть.

Она начала писать — быстро, по памяти. Рука двигалась ровно. За окном Лондон жил своей ночной жизнью: цокали копыта, смеялись у паба, выкрикивал последнее «экстра» усталый газетчик.

Никто вокруг не знал, что мир только что изменился.

Но она знала.

Глава 6. Горящее поручение

Лондон, начало июля 1914 года.

Июль пришел в Лондон раньше срока — душный, неподвижный, с тем зноем, который в этом городе всегда кажется неуместным, как гость, явившийся без приглашения. Небо над крышами Уайтхолла стояло белым, выжженным, без единого облака. Темза обмелела и пахла тиной. На улицах стало больше конных патрулей и меньше прохожих — те, кто мог себе позволить, старались лишний раз не выходить в полуденный жар.

В Министерстве иностранных дел жара чувствовалась по-своему. Высокие потолки и толстые каменные стены держали прохладу до полудня, но позже воздух становился густым и тяжелым, пропитанным запахом горячей бумаги, краски и табака из курительной в конце коридора. Напольные вентиляторы — большие, латунные, с медленно вращающимися лопастями — лениво перегоняли этот воздух с места на место, не принося никакого облегчения.

Лизи сидела за столом и работала.

С момента убийства в Сараево прошло несколько дней, но в отделе это событие почти не обсуждалось — во всяком случае, вслух. Мистер Финч однажды обронил за чаем, что «балканские дела начинают пахнуть серой», мисс Смит согласилась, что «австрийцы непременно потребуют перемен от Белграда», — и на этом разговор закончился. Отдел продолжал работать в штатном режиме. Но Лизи заметила мелочь: курьеры стали ходить чаще. Папки с пометкой «Срочно» появлялись на столах раньше, чем обычно. Сэр Блэк, который прежде появлялся после полудня, теперь приходил в восемь утра и не уходил до темноты.

Что-то изменилось. Медленно, почти неуловимо — но изменилось.

Лизи работала на два фронта. Официальные обязанности — сводки, переводы, сверка таблиц — занимали первый план. За ними, как на втором экране, шла другая работа: она продолжала собирать детали, которые не вписывались в общую картину. Маршруты. Цифры закупок. Молчание отца, которое теперь, после Сараево, приобрело совсем иной вес.

Где ты сейчас, папа?

Она прогнала эту мысль и снова взяла перо.

В пятницу, в начале недели, ее вызвали к сэру Блэку.

Лизи прошла по коридору второго этажа, слушая под ногами глухой звук своих шагов по паркету — старому, разошедшемуся, который скрипел в одних и тех же местах уже лет тридцать. Мимо прошел молодой курьер с кожаной сумкой через плечо — такие сумки, с поворотными замками и прорезиненным вкладышем для защиты бумаги от влаги, выдавались только для документов первостепенной важности. Курьер не смотрел по сторонам.

Она постучала. Вошла.

Кабинет сэра Блэка в этот раз выглядел иначе. Не то чтобы что-то изменилось в обстановке — те же карты на стенах в тяжелых рамах, те же бюсты на полках, тот же запах кожи и старого дерева. Но что-то в воздухе было другим. Более плотным. Как бывает в комнате, где только что закончился критический разговор и участники разошлись минуту назад.

Сэр Блэк сидел за столом. Перед ним лежал конверт — плотный, запечатанный темно-красным сургучом с отгиском якоря. Такие пакеты применялись для документов, которые нельзя было передать по телеграфу.

Он не предложил ей сесть. Просто поднял взгляд.

— Мисс Ватсон. Закройте дверь.

Она закрыла и подошла ближе.

— У нас для вас поручение, — произнес он. Голос был ровным, привычно прохладным, но в нем появилась новая нотка — не мягкость, нет, скорее сдержанная серьезность, с которой говорят о вещах, не допускающих легкомыслия. — Садитесь.

Лизи удивилась — в прошлый раз он не предложил этого. Она опустилась на стул напротив.

— Отдел шифрования разработал новый протокол обмена данными, — начал Блэк, не спеша, как человек, который уже несколько раз проговорил это про себя. — Метод, который усложняет перехват. Французской разведке нужна копия. Не телеграфом — слишком рискованно. Не обычным курьером — за последние месяцы мы потеряли несколько человек на этом маршруте. — Он помолчал. — Вы отвезите пакет в Париж лично.

Лизи смотрела на конверт. Не тянулась к нему — просто смотрела.

— Почему я?

Блэк откинулся в кресле. Положил руки на стол — жест человека, который заранее взвешивал этот вопрос.

— Потому что вы умеете быть незаметной, — сказал он. — Молодая женщина, путешествующая в одиночку, не вызывает подозрений. У вас нет известных связей за границей, нет оперативного прошлого, которое вы могли бы скомпрометировать. Ваши документы чисты. И кроме того, вы настойчивы. Обычно я не поощряю это качество в аналитиках. Но в данном случае оно пригодится.

Последнее он произнес без улыбки, но и без прежнего раздражения. Скорее — с той сдержанностью, с какой опытный врач признает, что пациент был прав в своих симптомах.

— Вы выедете в понедельник, — продолжил он. — Поезд с вокзала Виктория до Дувра, паром до Кале, дальше — Париж. Документы для поездки будут готовы к завтрашнему утру. Вы едете как Элис Коллинз, гувернантка, возвращающаяся из отпуска. Легенда проста и не требует глубоких знаний. Главное — не обращайтесь на себя внимания.

Он взял конверт и протянул его ей.

Лизи взяла пакет. Плотный, тяжелый для своего размера — видимо, внутри несколько слоев бумаги, проложенных вошеной калькой для защиты от влаги. По краям шла двойная сургучная печать с оттиском якоря. Вскрыть такой незаметно было почти невозможно — если сломать печать, это видно сразу.

— Пакет передадите лично полковнику Уиллису в британском атташате на улице Фобур Сент-Оноре. Только ему, из рук в руки. Никаких посредников. — Сэр Блэк посмотрел на нее прямо. — Повторяю: в последние месяцы несколько наших курьеров на этом маршруте исчезли. Это не фигура речи, мисс Ватсон. Именно поэтому выбор пал на человека без оперативного профиля. Будьте предельно внимательны.

Слово «исчезли» повисло между ними — тихо, без драматизма, оттого особенно весомо. Лизи не подала виду. Лишь чуть крепче сжала конверт.

— Есть вопросы?

— Когда мне нужно вернуться?

— Как только передадите пакет, — ответил он. — По возможности без задержек. Обстановка меняется быстро. Следите за новостями.

— Слушаюсь.

— Мисс Ватсон.

Она поднялась. Остановилась.

— Ваши наблюдения по балканским сводкам, — произнес Блэк, не поднимая взгляда от бумаг, — оказались не совсем лишены оснований. Это не означает, что метод был верным, но результат принят к руководству.

Это было все. Больше он ничего не добавил.

Лизи вышла в коридор и тихо прикрыла за собой дверь.

Спускаясь по лестнице, она держала конверт двумя руками. Мимо шли сотрудники с папками, курьеры, секретарши с блокнотами. Никто на нее не смотрел. Никто не знал, что она несет.

На первом этаже, в гардеробе, Лизи остановилась. Надела легкое летнее пальто из тонкого бежевого сукна. Вышла на улицу.

Уайтхолл был залит жарким полуденным светом. По мостовой тянулась вереница кэбов — четырехколесных «кларенсов» и более легких «хэнсомов» с высоко поднятым козлом, откуда кучер управлял лошастью через длинные поводья, перекинутые над пассажирской кабиной. Газетчик выкрикивал что-то про австрийский ответ на сараевское убийство. Несколько прохожих взяли газеты, пробежали взглядом заголовки и пошли дальше. Никакого волнения. Никакой предчувствия беды.

Лизи шла по тротуару, и в голове у нее одновременно боролись два совершенно разных чувства.

Первое было холодным. Курьеры исчезли. Не задерживались, не попадали в передраги — исчезали. Это значило одно: маршрут известен тем, кому он не должен быть известен. А значит, она — молодая женщина с конвертом в сумке — пройдет по той же дороге, по которой до нее уже пропало несколько человек. Профессионалов. Людей, у которых было больше опыта.

Второе чувство было иным — теплым, почти стыдным в своей простоте. Париж. Маргарета.

Они не виделись больше года. С тех пор, как их пути разошлись после Константинополя, служба закрыла для Лизи почти все личные связи. Писать Маргарете было слишком рискованно. Маргарета Зелле, известная в Париже как Мата Хари, жила в мире, где за каждым словом следили слишком внимательно. Лизи жила в мире, где любая переписка могла быть скомпрометирована. Поэтому — молчание. Больше года тишины.

Но теперь она едет в Париж.

«Я увижу ее», — подумала Лизи. И тут же одернула себя: это не главное. Главное — конверт. Полковник Уиллис. Атташат на Фобур Сент-Оноре. Не привлекать внимания.

Но мысль о Маргарете все равно грела — тихо, упрямо, несмотря ни на что.

Она остановила «хэнсом» и назвала адрес.

Вечером она пришла в Бэнксам.

Не потому, что была договоренность. Просто ноги сами привели ее на Клеркенвелл-роуд — к красному кирпичному фасаду, к вывеске «Золотой хлеб» с нарисованным снопом пшеницы, к запаху, который чувствовался уже на подходе — теплый, дрожжевой, с ноткой тмина.

Лавка закрылась. Мистер Бэнкс перевернул табличку на окне с «Открыто» на «Закрыто» — таблички были деревянными, выкрашенными в зеленый цвет, с медными кольцами. Увидев Лизи, он распахнул дверь.

— Лизи! Заходи, мы как раз ужинаем.

Генри был в лавке — он как раз убирал выставочные лотки. Увидев ее, он остановился. Их взгляды встретились на секунду — и Лизи поняла, что он сразу почувствовал: что-то изменилось. Он не стал спрашивать — просто снял фартук и пошел навстречу.

— Ты не предупредила.

— Я сама не знала, что приду, — честно ответила она.

Миссис Бэнкс накрыла еще один прибор без лишних слов — просто взяла из буфета тарелку с синей каемкой, поставила на стол, добавила рядом хлебную корзину. Это в них Лизи любила больше всего: никакой суеты, никакой подчеркнутой важности. Пришла — садись, ешь.

За столом говорили о простом. Мистер Бэнкс рассказывал о новом сорте муки из Йоркшира — оказывается, северная пшеница дает более плотный мякиш, который хорош для формового хлеба, но хуже для сдобы. Миссис Бэнкс жаловалась на жару и говорила, что в такой

зной тесто расстаивается слишком быстро. Генри молчал больше обычного и изредка поглядывал на Лизи.

Она слушала. Чувствовала, как этот обычный вечерний разговор обволакивает ее, и понимала, что именно это ей сейчас и нужно. Не анализ. Не тревога. Просто быть здесь, среди людей, которые ее любят, не думая ни про конверты с сургучными печатями, ни про исчезнувших курьеров.

— Я уезжаю, — сказала она наконец. Тихо, между разговором о муке и разговором о жаре. — В понедельник. По работе.

Все трое посмотрели на нее.

— Куда? — спросил Генри. Голос был ровным. Слишком ровным.

— В Париж.

Мистер Бэнкс смотрел на человека, которого не удивляют дела, в которых он не разбирается. Миссис Бэнкс сразу отозвалась:

— Ах, Париж! Я была там в восемьдесят девятом году, на выставке, когда построили эту их башню. Знаешь, она ужасно некрасивая вблизи — все железо и заклепки, просто огромное промышленное сооружение. Но если смотреть с набережной в сумерках — другое дело.

— Надолго? — спросил Генри.

— Не знаю, — ответила Лизи. — Как получится.

Это была правда. Она действительно не знала. Передать конверт — и сразу обратно, так сказал сэр Блэк. Но что-то внутри тихо надеялось, что «как получится» окажется чуть длиннее, чем нужно для одной передачи.

Генри больше не спрашивал.

После ужина он вызвался ее проводить. Они шли вечером по Клеркенвелл-роуд, где лавки уже закрылись и только в окнах второго этажа горели желтые огни газовых рожков.

— Это опасно? — спросил он наконец.

— Не должно быть, — ответила она.

— Это не одно и то же.

— Нет, — согласилась она. — Не одно и то же.

Они дошли до угла. Генри остановился. Засунул руки в карманы пиджака — жест, который она давно научилась читать: так он делал, когда хотел сказать что-то важное, но давал себе секунду, чтобы выбрать слова.

— Ты всегда возвращаешься, — сказал он наконец. Не вопрос. Не просьба. Решение, уже принятое, не требующее подтверждения. — Из Константинополя вернулась. Вернешься и из Парижа.

Лизи посмотрела на него. На его немного обветренное лицо. На чуть сдвинутые к переносице брови — признак беспокойства, который она научилась замечать. С руками в карманах — спокойный снаружи и напряженный внутри.

«Ты заслуживаешь лучшего, — подумала она. — Лучшего, чем человек, который не может тебе ничего объяснить».

Она сделала шаг к нему. Взяла его руку — вытащила из кармана и сжала в своей. Ненадолго. Через несколько секунд отпустила.

Генри не пошевелился. Только посмотрел на их сцепленные пальцы — чуть удивленно, чуть осторожно, как смотрят на что-то хрупкое, которое наконец само пришло в руки.

— Вернусь, — сказала она.

Она отпустила его руку и пошла.

Он смотрел ей вслед. Она знала это, не оглядываясь.

В воскресенье вечером она собрала чемодан. Небольшой, коричневый, с латунными замками — из тех, что называли «кабинным» размером, которые умещались на багажной полке в железнодорожном купе. Внутри легли два платья — одно темное, дорожное, другое светлое, —

сменное белье, несессер с туалетными принадлежностями, записная книжка в кожаном переплете и томик Троллопа, который она так и не дочитала еще в марте.

Конверт с сургучной печатью она завернула в простую коричневую бумагу и положила под платье — не в самый низ, но и не сверху. Не слишком заметно, но и не так, чтобы пришлось все перекладывать при досмотре.

Потом сидела у окна и смотрела на темную улицу.

Курьеры исчезли. Это был факт, который никуда не девался, как бы она ни старалась задвинуть его подальше. Она ехала по той же дороге, по которой ушли люди и не вернулись. Она несла то, за чем охотились. И ее единственной защитой было то, что она — никто. Молодая женщина без оперативного прошлого, с чемоданом гувернантки и документами на чужое имя.

«Это либо блестящая маскировка, — подумала она, — либо самообман».

Она не знала, что именно.

За окнами Лондон жил своей ночной жизнью. Цокали копыта запоздалого экипажа. Смеялись у паба. Выкрикивал последний номер усталый газетчик.

Лизи закрыла чемодан. Щелкнули латунные замки.

В понедельник утром — Париж. Конверт. Полковник Уиллис. И — где-то в этом же городе, в доме на авеню Анри-Мартен — Маргарета.

Она продолжала думать об этой встрече.

Потом встала и пошла спать.

Глава 7. Парижский вихрь и долгожданная встреча

Париж, начало июля 1914 года.

Поезд из Кале вошёл на Северный вокзал утром третьего часа пополудни.

Лизи ступила на перрон и остановилась на секунду — не от нерешительности, а чтобы создать ощущение твёрдости земли под ногами после долгой дороги. Перрон был тесным и шумным. Мужчины в помятых дорожных костюмах. Женщины с усталыми лицами. Дети, вцепившиеся в подолы. Чемоданы, ящики, скатанные одеяла. Люди уезжали — но не в отпуск. В движении толпы было что-то напряжённое, нервное, не похожее на обычную летнюю суету.

Лизи подхватила чемодан и пошла к выходу. Элис Коллинз, гувернантка, возвращающаяся из отпуска. Ничем не примечательная. Никуда не торопится.

Мужчина в военной фуражке посмотрел на нее исподлобья — цепко, недобро. Она опустила взгляд и прошла мимо, не замедляя шаг.

На выходе она взяла фиакр. Назвала адрес атташе — улица Фобур Сент-Оноре. Откинулась на спинку сиденья и первый раз за всю дорогу позволила себе выдохнуть.

За окном мелькал Париж. Широкие бульвары, каштаны вдоль тротуаров, белые фасады хаусманновских домов с одинаковыми коваными балконами. По углам — газетные киоски с кричащими заголовками: «Австрийский ультиматум!», «Европа на границе!». Прохожие покупали газеты, пробегали взглядом по первой полосе и шли дальше. Пили вино. Читали. Смеялись — или делали вид, что смеются.

Город был нервным, как перед грозой. Но снаружи выглядело спокойно.

Полковник Уиллис принял у неё пакет с коротким описанием. Невысокий, сухой, жилистый, со скромным взглядом усталого человека, который давно перестал удивляться. Он взял конверт молча, убрал в сейф, повернул ключ.

— Принято. Садитесь.

Лизи присела на край кресла.

Полковник посмотрел на нее чуть внимательнее, чем раньше.

— Хорошо справились. Зря волновались?

— В пути — да, — честно ответила она.

— И правильно. — Он потёр подбородок. — Сейчас всё на нервах. — Небольшая остановка. — Вы свободны, мисс Ватсон. Приказов нет. Наслаждайтесь. Пока есть чем.

Он обращался вежливо, позволяя понять, что разговор окончен.

На улице Лизи остановилась.

Никаких приказов. Впервые за долгие месяцы — никто не говорит ей, что делать дальше.

Она взяла такси почти машинально. Пальто, шляпка, взгляд вперед. Пальцы по привычке потянулись к сумке — проверить конверт. Конверта уже не было. Привычка осталась.

В голову всплыл адрес — тот, который она не записала, потому что помнила без записей. Авеню Анри-Мартен, дом восемь. Она повторила его мысленно — тихо, как молитву.

Маргарета сказала ей это почти год назад. На вокзале в Константинополе, в суматохе выезда — чемоданы, носильщики, гул на все страны сразу. Они стояли в вагоне, и в разговоре было мало времени, и обе они знали.

— Если будет совсем тяжело куда — или просто захочешь куда-нибудь деться от всего этого, — сказала тогда Маргарета, и в голосе ее была та особая смесь легкости и серьезности, которой она умела пользоваться лучше любого актера, — приезжай в Париж. Ищи дом с зелеными ставнями на авеню Анри-Мартен. Ты меня найдешь.

— А если тебя не будет дома? — спросила Лизи.

Маргарета посмотрела на нее с фирменной полуулыбкой, от которой теряли головы богатые мужчины, а умные женщины чувствовали что-то вроде родства.

— Я всегда там. Когда нужно — всегда там.

Поезд дал гудок. Они быстро обнялись — и разошлись.

С тех пор прошёл год. Больше года.

Авеню Анри-Мартен лежала в Шестом округе, там, где широкие бульвары текли неторопливо и дома смотрели на улицу с достоинством старых денег. Лизи вышла из такси и пошла пешком. Дома здесь были похожи друг на друга — серые каменные фасады, кованые решётки, деревянные ставни, закрытые от жары. Тёмно-серые, коричневые, почти чёрные.

Она шла и смотрела. Дом за домом.

А потом увидела.

Дом стоял чуть в глубине, за маленьким палисадником с кованой оградой. Невысокий — всего три этажа. Строгий фасад, тяжёлые ставни. Даже улица вокруг как будто затихла. Но ставни были зелеными — высокими, цвета молодых листьев, немного выгоревших на солнце. Она бы узнала их из сотен других.

Лизи остановилась у ограды.

Год прошёл. Константинополь. Вокзальный гул.

Она толкнула калитку.

Дверь открыл молчаливый слуга. Никаких вопросов — будто ее ждали.

Тяжёлые шторы, резные ширмы, полутёмная гостиная. Лизи стола, не двигаясь. В тишине было что-то нереальное — после дороги, после вокзала, после всего.

И тогда из глубины дома донесся легкий звук шагов. Лёгких, быстрых, характерных.

Маргарета не шла. Она побежала.

Лизи не успела ничего — руки Маргареты сомкнулись вокруг нее крепко, как будто в этот момент весь мир перестал существовать. Знакомые духи — чуть пряные, чуть горькие — заполнили воздух.

— Лизи... моя маленькая... — Маргарета выдохнула почти беззвучно.

Лизи не прошла обучение. Невозможно. Она просто уткнулась в её плечо, сжимая ткань кимоно. И почувствовала, как что-то внутри — тот постоянный, привычный узел — вдруг отпустило. Не совсем. Но ошутимо.

Когда Маргарета чуть отстранилась, в ее взгляде было не только облегчение — что-то напоминало настоящее счастье.

— Я ждала тебя.

— Я не знала, что приду, — честно ответила она.

Маргарета мягко улыбнулась — не той улыбкой, что для поклонников. Другой, меньше, теплее, только для тех, кого она действительно рада видеть. Взяла ее руки в свои и сказала:

— Ну что же мы стоим. Проходи. Садись. Рассказывай.

Лизи опустилась в кресло, чувствуя, как пальцы еще чуть дрожат. Гостиная была такой, какой она её никогда раньше не видела: слишком много всего — и при этом не напрягало. Тяжёлые портьеры из индийской набивной ткани, кушетка в восточном стиле, бронзовые статуэтки на каминной полке, фотографические портреты и афиши на стенах.

Маргарета устроилась напротив — легко, как умеют только люди, у которых дом действительно свой. Слуга принёс кофе в маленьких фарфоровых чашках с синим ободком и откланялся.

Лизи начала историю. Не всё — невозможно. Но главное. Как вернулись из Константинополя, как их вызвали в Министерстве, расспрашивали — в том числе и о Маргарете. Как предложили место в архиве, потом перевели в аналитический отдел. Как сначала это казалось удачей, потом — ловушкой. Про Сараево и то, что это значило для нее в тот вечер, когда все говорили о пшенице и кошках.

Маргарета слушала. Она умела слушать так, как умеют немногие — не перебивая, не примеряя чужое к своему. Когда Лизи рассказала про Генри, Маргарета впервые улыбнулась по-настоящему.

— Он хороший. Я рада.

Лизи замолчала. И вдруг спросила:

— А как Джон? Твой отец?

Лизи вскинула взгляд. Задержала дыхание. Нельзя. Но это — Маргарета.

— Он на задании. Уже почти два месяца. Где-то на востоке. И нет вестей.

Маргарета не задала ни одного лишнего вопроса. Просто взяла Лизи за руки и тихо сказала:

— Ватсон сильный. Если молчит — значит, так нужно. А ты должна быть независимой от отца.

Лизи смутилась.

Маргарета провела рукой по ее волосам — коротко, по-матерински.

— Всё. Больше ни слова об этом. Сейчас ты здесь. Со мной. Ванна. Потом ужин. А после расскажешь остальное. Если захочешь.

— Я могу... — Лизи запнулась, не зная, как сказать, что она неловко принимала всё это.

— Нет. Не можешь. Отдыхай. Это приказ.

Лизи только улыбнулась. Впервые за долгие месяцы в этой улыбке не было боли.

Маргарета повела её по длинным коридорам к ванной. В доме пахло цветами и чем-то ещё — тёплым, домашним. Стены скрывали город, и Лизи чувствовала себя в укрытии.

Ванная комната оказалась просторной. Бледно-жёлтые стены. Большая ванна, в которую уже наполнялась горячая вода. Пар поднимался вверх.

— Раздевайся, — сказала Маргарета, и в голосе ее не было ни приказа, ни игривости. Просто забота, тихая и заботливая, как у человека, который давно разучился делать из тела тайну. — Лондонские мундиры можешь сжечь.

Лизи почувствовала, как что-то сжалось внутри — быстро, рефлекторно. Руки сами потянулись к воротнику, но остановились.

— Я... я справлюсь сама.

Маргарета посмотрела на нее. Долго. Чуть тронула ее волосы — одним движением, легким, как будто просто убрала прядь с лица.

— Не сомневаюсь, — сказала она. — Но позволишь мне иногда быть старшей? Отдохни. Забудь обо всём. Хотя бы на час.

Она вышла и закрыла дверь.

Лизи стояла в тишине.

Она помнила — где-то на дне памяти, под слоем нескольких месяцев и бумаг и закрытых окон министерства — что когда-то это было иначе. Что когда-то, на другом берегу, в другом мире, она уже стояла вот так. Ей было страшно. И было что-то ещё — больше страха, сильнее его. Но это было давно. Год назад. И то чувство — невесомое, острое — она не берегла. Оно просто ушло, как уходит всё, к чему не возвращаешься.

Она подняла руки к пуговицам.

Первая. Вторая. Ткань пальто соскользнула с плеча и упала на пол с тихим шорохом. За ним — платье. Затем — нижняя рубашка. Каждый слой — будто что-то лишнее, что она носила слишком долго и не заметила веса, пока не сняла.

Она стояла обнажённой в тишине чужой комнаты — и это не было стыдно. Это было странно. Незнакомо. Как будто тело, которое она всегда носила с собой, вдруг оказалось немного чужим — и одновременно более настоящим, чем обычно.

Зеркало напротив отразило ее всю — тонкие ключицы, узкие плечи, бледную кожу, по которой проходили мурашки от прохладного воздуха. Она смотрела на это отражение без привычного критического взгляда. Просто смотрела. Почти взрослая. Почти.

Вода приняла ее медленно — горячую, почти обжигающую в глубокой ванне, мягче к середине. Лизи опустила в нее осторожно, дюйм за дюймом, и только когда вода закрыла плечи, выдохнула по-настоящему — глубоко, до самого дна.

Тепло входило в тело не снаружи, а изнутри — так казалось. Оно доходило до места, где она долго держала что-то сжатым, и начинало медленно, неохотно отпускать. Мысли рассыпались — не исчезали, просто теряли форму, перестали быть прозрачными.

Она думала о Генри. О том, как он стоял под дождем и смотрел на нее, и в этом взгляде не было упрека — только терпение, которого она не заработала. О Маргарете — о том, как она побежала по коридору, как сомкнула руки, как не задала ни одного лишнего вопроса. О доме на авеню Анри-Мартен — о том, что он существует, что она нашла зелёные ставни, что это место оказалось настоящим, а не выдуманным.

О том, чем живёт Маргарета. Такой дом. Такие комнаты. Портреты на стенах. Янтарь на шее. Мужчины, которые дарят такие вещи. Она не знала. Не хотелось знать. Или хотела — но не сейчас, не здесь.

Лизи положила голову на край ванны. Вода держала ее — невесомо, ровно. Она смотрела, как поднимается и опускается грудь с каждым дыханием, как вода движется от этого движения — едва заметно, но движется. Что-то в этом было успокаивающим. Что-то очень простое — дышит тело, вода качается, больше ничего не требуется.

«Я уже не девочка из пансиона, — думала она. — Но кто я теперь?»

Ответа не было. Но сначала это не пугало.

Когда она вышла из воды, по коже прошёл холод — резкий, мгновенный, как пробуждение. Капли стекали медленно — по ключицам, по рёбрам, по бёдрам — и в этом движении было что-то очень живое, почти неожиданное. Как тело напоминало о себе. Просто напомнило — тихо, без претензий.

Она взяла полотенце. Льняное, тяжёлое, с вышитой монограммой «МЗ». Накинула халат на плечи.

И только тогда закрыла глаза.

За дверью ждала Маргарета.

И вечер.

И что-то ещё — что она пока не умела назвать, но уже почувствовала.

Глава 8. Несколько недель до начала

Париж, июль 1914 года.

На третий день после прибытия Лизи отправилась в британскую миссию.

Кабинет отдела кадров оказался маленьким и душным — тяжёлый деревянный стол, пожелтевшие бумаги в стопках, огромное окно, выходящее в глухой двор. Чиновник, принявший ее прошение об отпуске, не задал ни одного лишнего вопроса. Поставил штамп. Убрал бумагу в папку.

— Две недели, мисс Коллинз. Приятного отдыха.

Лизи вышла на улицу и остановилась.

«Две недели, — подумала она. — Мои».

Она не позволила себе улыбнуться — просто пошла обратно, на авеню Анри-Мартен.

Маргарета ждала ее на веранде со второй чашкой кофе, уже налитой.

— Я знала, что ты выберешь остаться, — сказала она, не отрываясь от окна. — Ты никогда не была создана для архивов.

Лизи села напротив. Взяла чашку.

— Это был не выбор. Это была логика.

— Всегда так говорят, когда делают именно то, чего хотят.

Лизи промолчала. Маргарета была права, и это слегка раздражало.

С того утра жизнь в доме потекла по-новому. Не так, как в Лондоне — там день начинается с холодного пола под ногами и запаха чернил, с уже готовым списком того, что нужно сделать. Здесь Маргарета медленно пила кофе, лежа в шёлковом халате, и, казалось, совершенно не торопилась становиться кем-либо до полудня.

— Пей кофе. Утром думать вредно, — говорила она, когда замечала, что Лизи уже где-то не здесь.

— Я не умею не думать.

— Я раньше тоже. — Маргарета поставила чашку. — Потом перестала. И смотри, как хорошо у меня всё складывается.

Лизи невольно усмехнулась. Рядом с Маргаретой тревога не исчезала — она просто оседала на дно, переставала будить дыхание.

Здесь можно было выпить вино за обедом и не получить от этого взгляда поверх очков. Носить легкие летние платья из батиста вместо серых лондонских пальто. Спать в комнате, где по утрам в окно лезли ветки каштана с авеню, а не тянуло дымом и копотью. Лизи осторожно, почти недоверчиво разрешила себе всё это. Быть просто молодой женщиной. Почти.

Но по ночам возвращалась тревога.

Она приходила тихо, не как приступ, а как напоминание. Отец молчал. Европа договаривалась — или делала вид, что договаривается. Газеты писали об австрийских нотах и сербских ответах таким языком, как пишут о вещах, которые имеют важное значение, но не касаются никого из читателей.

В такие ночи Маргарета иногда приходила и садилась рядом. Она не думала ни о чём. Просто сидела — в своем неизменном халате, с книгой или без, пока Лизи не переставала смотреть в потолок.

— Ты держишь это под кожей, Лиз, — сказала она однажды вечером, когда Лизи сидела в кресле у темного окна, не зажигая лампу. — Вот здесь. — Она коснулась груди чуть ниже ключицы — просто форма, без жеста.

— Это часть меня, — ответила Лизи.

— Тогда не вырывай. Пусть будет. — Маргарета помолчала. — Но не дай ему управлять. Больше она ничего не сказала. Этого было достаточно.

В те дни они много говорили — но не о политике и не о войне. О платьях, о людях, об улицах. Маргарета рассказывала о Париже так, как рассказывают о городе только те, кто жил в нем дольше, чем предполагалось, и незаметно для себя полюбил. Лизи слушала и впервые за долгое время просто слушала себя, не ища второго дна.

Она сопровождала Маргарету на репетиции — в большом зале с зеркальными стенами и натёртым до блеска паркетом, где музыканты разбирали партии, а импресарио ходил с видом человека, постоянно пересчитывающего деньги в уме. На встречах с дипломатами — в гостиницах, где говорили негромко, пили мадеру и смотрели друг на друга с особой вежливостью, за которой скрывается полное взаимное недоверие. На приемах у художников и коллекционеров.

Она наблюдала. И научила себя видеть то, что стоит за словами.

Однажды Маргарета привела ее в мастерскую на Камбоне — маленькое ателье с высокими потолками, заваленное рулонами тканей, эскизами и манекенами на разных стадиях облачения. Здесь работал Леон Бакст — художник, чьи костюмы для «Русских балетов» Дягилева весь Париж обсуждал уже который сезон. Небольшого роста, в испачканном краской переднике, с таким рассеянным взглядом человека, который постоянно видит не то, что перед ним, а то, что могло бы из этого получиться.

Он сразу заметил Лизи — как замечают что-то, что не записано в привычном порядке вещей.

— Ах, Лизи... — выдохнул он, подходя ближе. Его взгляд скользил по ней медленно, без бесцеремонности, но и без стеснения — взгляд человека, для которого человеческое тело прежде всего было формой, линией, задачей. — Я не знаю, кто вы на самом деле. Но вы носите в себе что-то... непокорное.

Он взял ее за руку. Лёгким пальцевым движением провёл по внутренней стороне запястья — изучая, как изучают фактуру ткани перед тем, как решить, что из неё сшить. Лизи ощутила, как кожа отозвалась на прикосновение — не так, как отзывается на мужское. Иначе. Как будто ее коснулись с неожиданной стороны.

Она не отдёрнула руку.

— Можно я создам для вас что-то? — спросил он. — Не платье как одежду. А как... продолжение.

— Я... — Лизи запнулась. Она не нашла слов — просто потому, что впервые увидела мужчину, а не «мужчину». Он был чем-то другим. Художником, для которого она была интересна не как женщина, а как задача.

— Она подумает, Леон, — вмешалась Маргарета с улыбкой. — Она ещё не привыкла к таким комплиментам.

Бакст отступил, не обижаясь.

— Я буду ждать.

На улице Лизи шла рядом с Маргаретой и некоторое время молчала. Запястье всё ещё помнило прикосновение его пальцев.

— Он всегда такой? — спросила она наконец.

— Леон? — Маргарета чуть улыбнулась. — Всегда. Он видит людей насквозь. Не как шпион. Как художник. Это совсем другое зрение.

Лизи задумалась об этом. О разнице между одним и другим.

Дни шли. Лизи втягивалась в ритм Парижа — в его приемы, в его театры, в его особенную манеру проживать июльские вечера медленно и без спешки. Она не забывала, зачем здесь находится. Но смотрела теперь иначе — не из-за стола с бумагами, а изнутри живой жизни.

И именно поэтому она заметила его.

Это случилось на приеме в салоне Верньо — большая квартира на бульваре Осман, принадлежавшая богатой семье с коллекцией фламандской живописи и привычкой собирать у себя всех, кто был хоть сколько-нибудь интересен. Гостей было много. Лизи стояла у окна с бока-

лом в руке и наблюдала — за движением людей по комнате, за тем, кто к кому подходит и кто кого избегает.

Тогда она его и увидела.

Филипп де Валуа. Высокий, безупречный наряд — темный фрак, белая сорочка с накрахмаленным воротником-стойкой, никаких украшений, кроме простых запонок из темного серебра. Красивая, холодная, завершенная жизнь, которая не говорит и удерживает дистанцию. Он разговаривал с хозяйкой — внимательно, с легкой улыбкой, наклонив голову ровно на тот угол, который говорит: «Я слушаю вас, только вас, и это для меня важно».

Лизи смотрела.

Что-то в нем не складывалось. Не в деталях — в целом. Как слово, которое написано правильно, но в контексте означает не то.

Позже, когда хозяин дома проводил небольшую экскурсию в библиотеке, показывая недавно приобретённый манускрипт — редкий часослов пятнадцатого века, в переплёте из свиной кожи с медными застёжками, — Лизи оказалась рядом с Филиппом. Она следила за его руками.

Хозяин бережно перелистывал страницы. Гости смотрели с благоговением, наклонялись ближе, осторожно вздыхали. Филипп улыбался. Кивал. Говорил правильные слова о пергаменте и иллюминации. А потом сам перевернул страницу — одним движением, резким, привычным. Не так переворачивает страницу человек, который привык обращаться с хрупкими вещами. Так быстро переворачивают бумагу, которую нужно просмотреть. Рабочие бумаги.

Мелочь.

Лизи отвела взгляд и сделала глоток вина.

Этот человек — не тот, кем кажется.

Она не торопилась с выводами. Одна деталь — не улика. Но она запомнила.

На следующем приёме она подошла к нему сама.

Они говорили легко — о погоде, о Лондоне, о том, чем Париж отличается от английских городов. Лизи позволяла разговору течь, не торопила его. Слушала. Улыбалась в нужных местах. И в какой-то момент, как бы случайно, упомянула редкую бабочку — несущественную, только что выдуманную ей самой. Видимо, предположительно недавно открытую натуралистами в верховьях Амазонки. Она даже придумала название — Морфо Изабелла — достаточно правдоподобное, чтобы не вызвать мгновенного подозрения, и достаточно экзотичное, чтобы нельзя было проверить здесь и сейчас.

Филипп не замешкался ни на секунду.

Он тут же сказал, что слышал об этом открытии. Добавил несколько «деталей» о предполагаемом окрасе крыльев. Спросил, не интересовалась ли она энтомологией.

Лизи улыбнулась и ответила, что нет.

Внутри нее что-то сжалось — холодно, точно.

Люди, которые действительно знают предмет, на секунду задумываются, прежде чем ответить. Они уточняют. Они говорят: «Погодите, я читал что-то похожее, но не уверен». Люди, которые притворяются, что знают, — не задумываются никогда. Им незачем.

Он знал то, чего не существовало.

На следующее утро они пили кофе на балконе. Внизу по авеню ехал молочник на двухколеске — крытой, с блестящими бидонами по бокам, запряжённой понурой серой лошастью. Газеты лежали на столике нетронутыми.

— Ты опять ушла в себя, — сказала Маргарета.

— Да.

— Опасно. Лучше поешь.

Лизи взяла круассан и откусила. Маргарета смотрела на нее с тем выражением, которое Лизи уже заметила: «Я подожду, пока ты сама скажешь».

— Я думаю, один из твоих знакомых — не тот, за кого себя выдает.

Маргарета опустила чашку.

— Кто?

— Филипп де Валуа.

Несколько секунд Маргарета смотрела на нее — серьезно, без улыбки.

— Серьезно?

— Он слишком правильный. Слишком гладкий. Настоящие люди так себя не ведут.

Маргарета чуть усмехнулась — не насмешливо, скорее устало, как усмеваются люди, которые уже давно знают то, о чем другие только начинают догадываться.

— Лизи, в этом городе половина людей не те, за кого себя выдают. Привыкай.

Лизи ничего не ответила.

Она не собиралась делать больше. Это было ее — ее наблюдение, ее догадка, ее первое настоящее расследование, не порученное сверху, а начатое самой. Она хотела проверить себя. Всё, чему научил её отец. Всё, чему научила служба. Всё, чему научила Маргарета — просто тем, как женщины держатся на людях.

Вечером, сидя в своей комнате при свете небольшой керосиновой лампы с матовым стеклянным колпаком, она перебирала в памяти каждую встречу с Филиппом. Его движения. Слова. Моменты, когда он смотрел слишком быстро — и моменты, когда пауза была на долю секунды длиннее, чем нужно.

Это был не просто человек с секретами. Это был человек, который так давно носил чужую кожу, что, кажется, уже сам забыл — какова она, своя.

«Париж обманывал, — подумала она. — Он всегда обманывал. Просто делал это красиво».

Она задула лампу.

Завтра она начнёт смотреть внимательнее.

Иногда достаточно одной детали, чтобы понять, кто перед тобой.

И Лизи не собиралась ее упустить.

Глава 9. Маска трещит

Париж, середина июля 1914 года.

Утром Лизи проснулась раньше обычного.

За окном было ещё серо — тот особый предрассветный час, когда Париж ещё не решил, каким будет день, и авеню Анри-Мартен лежала в тишине, нарушаемой только одиноким цоканьем копыт где-то далеко. Лизи лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок.

Она думала о Филиппе де Валуа.

Не с тревогой — с тем холодным, методичным вниманием, которое, как она начинала понимать, было, пожалуй, её главным инструментом. Она перебирала детали заново, как перебирают бумаги на столе: каждую отдельно, по порядку. Манера держать страницы. Слишком правильный французский. Пустые описания книг — технически верные, но без живого знания предмета. Несуществующая бабочка, о которой он заговорил без единой секунды сомнения.

Сам по себе каждый из этих фактов был ничем. Вместе они складывались в портрет человека, который не живёт своей жизнью, а исполняет её.

«Актёр, — подумала она. — Очень хороший актёр».

Вопрос был не в том, кем он притворяется. Вопрос был в том, кем он является на самом деле.

За завтраком Маргарета появилась позже обычного — в шёлковом халате цвета старой бронзы, с чашкой кофе в руках, с тем отсутствующим видом человека, который ещё не до конца вернулся из собственных мыслей.

Лизи уже сидела за столом.

— Ты рано, — сказала Маргарета, опускаясь напротив.

— Не спалось.

Маргарета посмотрела на неё поверх чашки — быстро, но внимательно. Ничего не сказала.

Они пили кофе в тишине. За окном просыпалась улица: проехала молочная двуколка, хлопнула чья-то ставня, внизу мальчик-газетчик выкрикнул что-то про австрийские переговоры.

— Сегодня вечером, — произнесла Маргарета наконец, — я иду к Дювалю. Ты со мной.

Это была не просьба. Маргарета редко спрашивала — она сообщала, и в этом сообщении всегда был вопрос, скрытый так глубоко, что найти его можно было только по интонации.

— Хорошо, — сказала Лизи.

Маргарета кивнула и встала — забрать кольцо из будуара. Лизи слышала, как открывается и закрывается шкатулка, как Маргарета что-то произносит вполголоса сама себе — недовольно или задумчиво, не разобрать.

Через несколько минут она вернулась. Без кольца.

— Слишком, — сказала она коротко, ставя чашку на стол.

— Что слишком?

— Колье. Иногда «чересчур» — это ровно столько, сколько нужно. Но не сегодня. — Она посмотрела на Лизи. — Ты знаешь, у кого будет вечер в доме Дюваля?

Лизи покачала головой.

— Весь Париж, — сказала Маргарета. — Или те, кто считает себя им.

Особняк Дюваля на улице Варенн был из тех домов, в которых история не висит на стенах, а живёт в самом воздухе — в ширине лестницы, в высоте потолков, в том, как паркет под ногами не скрипит, а молчит с достоинством. Гостей было много. Маргарета двигалась среди них легко и привычно — здоровалась, смеялась, ненадолго останавливалась, перебрасывалась парой слов и шла дальше. Лизи держалась рядом, чуть позади, и наблюдала.

Она видела, как Маргарета работает. Именно работает — при всей видимой лёгкости. Каждая её остановка была не случайной. Каждая улыбка — отмеренной. Она знала, кому нужна её внимательность, кому — её равнодушие, и кого можно одарить одной фразой и уйти.

«Вот чему она меня учит, — подумала Лизи. — Не манерам. Видению».

Около одиннадцати она увидела Филиппа.

Он стоял у камина с бокалом в руке и разговаривал с молодым дипломатом — Лизи узнала того по монограмме на портфеле, который тот держал под мышкой с видом человека, не умеющего расставаться с работой даже на приёмах. Филипп слушал внимательно, наклонив голову — ровно на тот угол, который говорит: «Вы важны для меня». Его лицо выражало умеренный, доброжелательный интерес.

Лизи взяла с подноса проходящего официанта бокал вина и медленно пошла вдоль стены. Не к Филиппу. Мимо него. В сторону книжных полок, которые занимали почти всю дальнюю стену библиотечного зала.

Она остановилась у полок. Взяла первый попавшийся том — что-то по истории ботаники, судя по гравюрам. Открыла. Сделала вид, что читает.

Голоса у камина были слышны хорошо.

Дипломат что-то говорил об австрийских требованиях к Сербии — негромко, с озабоченным видом. Филипп отвечал уверенно: что всё разрешится, что Вена не пойдёт дальше ультиматума, что в июле все нервничают, но в августе всё успокоится. Его слова были правильными — именно такими, какие хочет услышать человек, который сам хочет верить в лучшее.

Лизи перевернула страницу.

«Он не успокаивает его из вежливости, — отметила она про себя. — Он ведёт его. Туда, куда нужно ему».

Немного позже, когда дипломат откланялся, Лизи закрыла книгу и повернулась. Их взгляды встретились через весь зал — случайно, как бывает в комнате, где много людей. Филипп чуть наклонил голову. Она ответила коротким кивком.

Он пошёл к ней.

«Вот как, — подумала она. — Сам».

— Мисс Ватсон. — Он взял её руку и приложился к ней с той долей церемонности, которая у хорошо воспитанных людей означает уважение, а у очень хороших актёров — дистанцию. — Какая неожиданная встреча. Хотя, признаться, я заметил вас ещё в начале вечера.

— Правда? — Она позволила себе удивление — лёгкое, не наигранное. — А я вас — только что.

Он улыбнулся. В улыбке было всё нужное: тепло, немного самоиронии, ни малейшей настороженности.

— Вы увлекаетесь ботаникой? — Он кивнул на книгу в её руках.

Лизи посмотрела вниз. Забыла про книгу.

— Нет. Просто взяла, что попало. — Она поставила том обратно на полку. — Вы давно знакомы с Дювалем?

— Несколько лет. Он превосходный хозяин. — Филипп взял с подноса проходящего официанта два бокала и предложил ей один. — Вы в Париже надолго?

— Пока не знаю.

— Завидую. Я сам давно разучился жить без расписания.

Разговор тёк легко и ни о чём — о Париже, об июльской жаре, о разнице между английскими и французскими садами. Лизи отвечала ровно столько, сколько нужно, не больше. Слушала. Смотрела.

И в какой-то момент сказала — как будто между прочим, возвращаясь к давешнему разговору у камина:

— Вы думаете, что с Австрией и правда всё разрешится?

Филипп чуть помедлил — ровно на ту долю секунды, которая означает не раздумье, а пересчёт.

— Полагаю, да. Дипломатия редко заходит дальше, чем требует аудитория.

— Красиво сказано, — согласилась Лизи. — Но ведь иногда заходит?

Он посмотрел на неё. Взгляд был внимательным — чуть более внимательным, чем предполагал светский разговор.

— Иногда, — согласился он. — Но тогда уже всё зависит от того, кто первым сделает ошибку.

Лизи кивнула. Сделала глоток вина.

«Он знает, — подумала она. — Он точно знает больше, чем говорит. И он только что намеренно дал мне это понять. Зачем?»

Ответа у неё не было. Но вопрос она запомнила.

Домой они возвращались поздно. Маргарета молчала почти всю дорогу — автомобиль её шофёра Жака катил по пустым ночным бульварам, газовые фонари мелькали в окне жёлтыми пятнами.

— Ты с ним разговаривала, — сказала Маргарета наконец. Не вопрос.

— Да.

— И?

Лизи смотрела в окно.

— Он умный, — сказала она. — Намного умнее, чем хочет казаться. Это само по себе — уже ответ.

Маргарета помолчала. Потом:

— Лизи. — Голос её был ровным, но в нём появилась та особая нотка, с которой говорят, когда хотят, чтобы слова дошли не сразу, а чуть позже, когда человек останется один. — Умные люди, которые прячут свой ум, делают это не потому, что скромны. Будь осторожна.

Лизи не ответила.

Автомобиль остановился у дома. Шофёр открыл дверцу. Они вошли.

В своей комнате Лизи долго стояла у окна. Сад внизу был тёмным и тихим. Рыжий кот куда-то исчез.

«Умные люди, которые прячут свой ум...»

Она думала об этом, пока не начало светать.

А потом решила: наблюдать — мало. Нужно проверить.

Глава 10. Охота

Париж, середина июля 1914 года.

По утрам Лизи выходила одна.

Это стало привычкой — пока Маргарета ещё лежала в своём шёлковом халате с первой чашкой кофе, Лизи надевала простое светлое платье, закалывала волосы и выходила на авеню Анри-Мартен. Без цели. Просто смотреть.

Она привыкала к Парижу так, как привыкают к новому языку — сначала отдельные слова, потом ритм, потом наконец начинаешь понимать не переводя. Город жил по своим законам, отличным от лондонских, и первое время она замечала только несходство. Здесь не спешили так, как спешат в Лондоне — не потому что некуда, а потому что торопливость считалась признаком дурного тона. Официанты в кафе смотрели на неё с мягким превосходством, если она просила счёт прежде, чем выпила кофе до дна.

Сам кофе подавали в маленьких фарфоровых чашках, без молока, густой и горький — совсем не похожий на то, что наливали в Лондоне. Лизи научилась пить его медленно, не морщась.

На бульваре Осман по утрам было особенно заметно, как Париж делился на два потока. По проезжей части — автомобили вперемешку с экипажами. «Рено АХ» и тяжелые «Пежо» с открытыми кузовами тарахтели мимо неторопливых фиакров, водители сигналили клаксонами — резкими, медными, похожими на гусиный крик, — лошади косились на них и переступали с ноги на ногу. Разрыв между старым и новым был таким наглядным, что казался почти нарочитым: вот старик-кучер в цилиндре правит гнедой кобылой, а в трёх метрах от него молодой шофёр в кожаных крагах и очках-консервах объезжает его на покрытом пылью «Делоне-Бельвиль» с блестящим радиатором.

По тротуарам шли люди — мужчины в светлых летних костюмах с соломенными канотье на головах, женщины с зонтиками *en-tout-cas* от солнца. У киосков с газетами собирались небольшие кучки — заголовки всё тревожнее, Австрия всё настойчивее, Сербия всё молчаливее. Но разговаривали о заголовках не дольше нескольких минут. Потом газету складывали под мышку и шли дальше — в кафе, в лавку, на работу.

Они не верят, что это их касается, — промелькнула мысль. — Так же, как мистер Бэнкс не верил. И так же ошибаются.

Она возвращалась домой. Пила кофе с Маргаретой. Одевалась к вечеру. И шла на охоту.

Охота была методичной. Без спешки, без лишних движений — Лизи действовала так, как учил отец: сначала видеть, потом думать, потом делать. Прикрытием служила жизнь Маргареты — приёмы, выставки, вечера в салонах. Лизи появлялась там, где появлялся Филипп де Валуа. Не выслеживала — встраивалась в круг, становилась его естественной частью.

Она узнавала его голос раньше, чем видела лицо. Этот вкрадчивый, чуть обволакивающий тембр — хорошо поставленный, никогда не повышающийся выше нужного уровня — она вычленила из гула любого зала за несколько секунд. Наблюдала: к кому он подходит, кого обходит стороной, как держит бокал, как долго смотрит на человека перед тем, как ответить.

Филипп всегда был безупречен. Это само по себе являлось уликой. Настоящие люди не бывают безупречны — они оговариваются, смеются не в том месте, роняют вилку, скучают на скучных вечерах и не скрывают этого. Филипп не делал ничего подобного. Он был идеален ровно настолько, чтобы производить впечатление, — и ни на один миллиметр больше.

Играет, — отозвалась мысль. — Но в какую игру?

Однажды утром, когда Маргарета уехала на примерку к своему портному на улице Камбон, Лизи взяла блокнот и вышла в город одна — не гулять, а думать.

Она дошла до набережной Сены и остановилась у паркета.

Река была серо-зелёной в этот час, медленной, с лёгкой рябью от баржи, которая тянулась вниз по течению — широкая, плоская, гружёная строительным камнем. На барже стоял мужчина в синей робе и курил короткую трубку, глядя прямо перед собой с видом человека, у которого впереди — весь день и никакой спешки. По мосту Пон-Нёф проехал открытый «Панар-Левассор» с характерным длинным капотом, следом за ним — конный экипаж, который тут же потонул в поднятом автомобилем облаке выхлопа. Кучер чертыхнулся по-французски, лошадь мотнула головой.

Лизи облокотилась на нагретый солнцем камень парапета и раскрыла блокнот. Она записывала всё, что знала о Филиппе. Места. Имена людей, с которыми он говорил. Темы, которые он поднимал и которых избегал. Страны, которые упоминал, — и то, как именно упоминал: со знанием или с заученной точностью. Рядом с каждым пунктом — вопрос. Большинство вопросов оставались без ответа.

Внизу, под мостом, на каменном приступке сидел старик — в засаленном пиджаке, с удочкой. Леска уходила в воду. Он не смотрел ни на леску, ни на реку — просто сидел с закрытыми глазами и подставлял лицо солнцу.

Не ждёт рыбу, — решила Лизи. — Просто здесь.

Она закрыла блокнот.

Особняк баронессы де Ротшильд на авеню Фош стоял за кованой оградой в глубине короткой аллеи. Перед воротами — два автомобиля и несколько фиакров, шофёры и кучера курили в стороне. Внутри горели люстры, сквозь высокие окна первого этажа были видны силуэты гостей.

Лизи вышла из «Рено АХ» Маргареты — автомобиль, который шофёр Жак содержал с той гордостью, с какой другие люди содержат породистых лошадей, — и прошла в дом следом за хозяйкой.

Зал был полон. Хрусталь люстр, шелест шёлковых платьев, запах сигар и шампанского. Маргарета сразу растворилась в толпе — легко, как растворяется соль в тёплой воде. Лизи осталась у стены и начала смотреть.

Она нашла Филиппа быстро. Угол зала, пожилой мужчина с коллекционерским видом — осторожный, чуть подобострастный, из тех, кто готов слушать часами о предметах, которые любит. Филипп говорил с ним именно так, как говорят с такими людьми: тихо, доверительно, давая паузы в нужных местах.

Лизи двинулась вдоль стены — медленно, глядя на картины. Дорогие, фламандские, в золочёных рамах. Она не видела их — она слушала.

— ...экземпляр из личной коллекции князя... бесценен. Его история...

Филипп замолчал. Позволил воображению старика дорисовать остальное самому. Это был точный приём — Лизи оценила его профессионально.

Она сделала шаг в сторону. Случайный. Их взгляды встретились. Она улыбнулась — легко, немного рассеянно, как улыбаются при неожиданной встрече со знакомым.

— Месье де Валуа! Какая неожиданная встреча.

Её французский звучал нарочито по-английски — старательно, чуть больше, чем нужно. Элис Коллинз, гувернантка. Мисс Ватсон, аналитик. И кто-то третий, имени у которого пока не было.

— Вы так увлечены марками? — продолжила она. — Мой отец собирал их. Но я, признаться, никогда не понимала смысла. Разве это не просто... кусочек бумаги?

На миг в его взгляде мелькнула тень. Маска дрогнула на долю секунды. Он собрался мгновенно.

— Ах, мисс Ватсон. — Голос стал бархатным. — Истинная ценность никогда не бывает очевидной, не так ли?

Он извинился перед стариком — коротко, с безупречной вежливостью, которая не обижает, а закрывает разговор, — и взял Лизи под руку. Не галантно — уверенно. Это был контроль. Он увёл её чуть в сторону, туда, где меньше слушателей.

— Позвольте рассказать вам об одной марке...

Он говорил с артистизмом, сплетая вымысел и правду так ловко, что Лизи на секунду почти поддалась. Почти. Она задавала вопросы, вставляла ремарки, ловила его взгляд, ища в нём хоть что-то живое. Но глаза Филиппа оставались пустыми. Как зеркало. Как тщательно отточенный трюк.

Официант проходил мимо. Филипп слегка, почти случайно, толкнул его локтем. Поднос накренился. Шампанское пролилось. Бокалы со звоном разбились о мраморный пол.

Тишина. Гости обернулись.

Лизи стояла посреди зала, мокрая, в капле шампанского. Влажные пряди прилипли к вискам. Как школьница. Как глупая девочка.

Филипп, не теряя хладнокровия, бросился помогать официанту, извиняясь и улыбаясь. Но в его глазах, на миг, промелькнул триумф. Он выставил её. Ударил в уязвимое место без грубости и агрессии. Он видел её попытку — и ответил.

Внутри Лизи всё кипело. Ярость на него, на себя, на эту растерянность, на мокрые волосы. Она отступила, но не проиграла. Она приняла правила.

Но теперь... её правила.

И впервые за эти недели ей стало по-настоящему страшно. Потому что теперь она знала: это не учёба. Это — настоящая игра. И цена ошибки будет выше, чем мокрое платье. Партия началась.

На улице, когда они с Маргаретой вышли из особняка, воздух был тёплым — Париж летом долго держал дневное тепло. Жак ждал у ворот, сложил газету, открыл дверцу. Маргарета взглянула на Лизи — на мокрое платье, на прямую спину, на слишком спокойное лицо. Ничего не сказала.

Жак тронул машину. Они ехали по ночному Парижу, мимо редких открытых кафе. Электрические фонари на столбах давали ровный белый свет — совсем не похожий на жёлтый газовый, к которому Лизи привыкла в Лондоне. Париж переходил на электричество быстро и без сожалений.

— Он это сделал намеренно, — произнесла Лизи наконец.

— Я видела, — отозвалась Маргарета.

Больше они не говорили до самого дома. Оказавшись в своей комнате, Лизи села на кровать и несколько минут провела в темноте. Платье высыхало. Сердце успокаивалось. Филипп де Валуа знал, что она за ним наблюдает. И только что показал ей это — элегантно, без лишних слов.

Это был не конец охоты. Это было её настоящее начало.

Глава 11. Увеличение ставок

Париж, июль 1914 года

Шампанское на платье высохло к утру. Пятна не осталось — хорошая ткань, горничная Маргареты знала своё дело. Но Лизи всё равно убрала платье в дальний угол шкафа. Надевать его снова она не хотела.

Она сидела у окна с чашкой травяного настоя — Маргарета с вечера велела Мари заварить мялису, сказав только: «Для нервов» — и смотрела, как авеню Анри-Мартен просыпается. Дворник в синем переднике мёл тротуар перед домом напротив. Из-за угла вышла женщина с плетёной корзиной — в булочную, наверное, или на рынок. Обычное утро. Обычный Париж.

Лизи держала чашку обеими руками и думала.

Инцидент с шампанским был не случайностью и не хулиганством. Это был ответ. Точный, рассчитанный, поданный с улыбкой. Филипп де Валуа увидел её попытку — и показал, что увидел. Без слов, без скандала, с безупречными манерами. Это был язык, который она только начинала понимать.

Пальцы сжали чашку чуть крепче.

Значит, наблюдать большие недостаточно. Нужно действовать. Но иначе.

Следующие дни она появлялась там, где появлялся он. Аукционы, галереи, вечера в салонах. Каждый раз — другое платье, другой угол комнаты, другой предлог для разговора. Она больше не подходила к нему первой. Ждала, пока он сам окажется рядом — а он оказывался, потому что не мог не оказаться. Человек, который ведёт игру, не может позволить себе игнорировать фигуру, которую не понимает до конца.

Она задавала вопросы о прошлом. О семье. О том, где учился, где жил до Парижа. Филипп отвечал охотно — подробно, с деталями, с лёгкой улыбкой человека, которому приятно вспоминать. Женева. Отец-юрист. Университет в Лозанне. Первая поездка в Париж в девятнадцать лет.

Всё гладко. Всё на месте.

Слишком гладко. Слишком на месте.

Лизи слушала и кивала, и за каждым его словом искала зазор — место, где история чуть не сходится с собой. Он был хорош. Но никто не бывает настолько хорош, чтобы не оставить ни одного шва.

На вечере у виконтессы де Морне — небольшом, человек двадцать, в гостиной с турецкими коврами и японскими ширмами — Филипп оказался рядом с ней у буфетного столика. Лизи взяла бокал *Dubonnet* — тёмно-красного, чуть горьковатого аперитива, который здесь подавали со льдом и долькой апельсина. Филипп взял то же самое, что само по себе было маленьким зеркалом: люди на приёмах выбирают напиток по настроению, не по соседу.

— Мисс Ватсон, — сказал он с той интонацией, с которой светские люди начинают разговор, уже зная, чем он закончится. — Вы, если не ошибаюсь, изучали историю?

— Литературу, — поправила она. — Но история неизбежно вмешивается.

— Как верно подмечено. — Он чуть наклонил голову. — Осмелюсь предположить, что именно поэтому вы так внимательно наблюдаете за людьми. Ищете в них историю?

Лизи посмотрела на него прямо.

— Скорее — ищу, где история расходится с тем, что человек о себе рассказывает.

Секунда. Совсем короткая.

— Какая редкостная пронизательность для столь юной особы, — произнёс он наконец. Голос остался ровным. Улыбка — на месте. — Не откажите в любезности — вы часто находите подобные расхождения?

— Иногда, — сказала она. — Когда история слишком хорошо рассказана.

Он посмотрел на неё. Она выдержала взгляд.

— Вы, мисс Ватсон, — произнёс он тихо, уже без светской интонации, просто и прямо, — значительно опаснее, чем хотите казаться.

Это прозвучало не как угроза. Как наблюдение. Почти как комплимент.

Лизи взяла бокал и сделала глоток.

— Смею заметить, месье де Валуа, — ответила она в том же тоне, — что это взаимно.

Он засмеялся. Коротко, искренне — первый раз за всё время, что она его знала. И это было страшнее всего остального.

Аукцион антиквариата проходил в особняке на улице Лилль — закрытый, по приглашениям, человек сорок от силы. Маргарета получила карточку через общего знакомого; Лизи шла как её компаньонка. Высокие потолки, запах старого дерева и воска, стулья в два ряда перед подиумом. На подиуме — предметы под белыми покрывалами, которые служащие снимали по одному.

Аукционист — небольшой, быстрый, с молоточком из слоновой кости — вёл торги по-французски, изредка переходя на английский для тех, кто морщился. Ставки поднимались неспешно, с той особой тишиной, которая бывает в комнатах, где деньги не называют вслух, а просто поднимают карточку.

Лизи наблюдала за Филиппом.

Он сидел в третьем ряду. Участвовал в двух лотах — оба раза поднял карточку один раз, получил вещь без борьбы. Не коллекционер, азартно торгующийся. Человек, который пришёл за конкретным и взял конкретное.

В перерыве гостей пригласили в соседний зал — шампанское, канапе с паштетом на маленьких тостах из бриошь, миндаль в сахарной глазури. Лизи взяла тост и встала у окна. Филипп разговаривал с кем-то у дальней стены.

Тогда к нему подошёл служащий аукциона. Наклонился. Сказал что-то тихо, почти в ухо.

Филипп кивнул. Извинился перед собеседником — коротко, вежливо — и пошёл в сторону бокового коридора.

Лизи поставила тост на поднос.

Подождала десять секунд. Пошла следом.

Коридор был узким, с тёмными панелями из мореного дуба. Одна дверь приоткрыта — из-за неё тянулся свет настольной лампы. Голос Филиппа — приглушённый, ровный.

Лизи остановилась у двери. Не вошла — заглянула. Сделала вид, что ошиблась.

Филипп стоял спиной к двери, прижав телефонную трубку к уху. Аппарат — настольный, с отдельным наушником на витом шнуре — стоял на краю стола. На столе, рядом с каталогом аукциона, лежал кожаный ежедневник. Страница открыта.

Лизи смотрела на страницу.

Ряд пятизначных групп цифр. Несколько аббревиатур — латиница, но не французская и не английская. Два слова подчёркнуты дважды.

Глаза зафиксировали. Не успели прочитать полностью — но зафиксировали.

Филипп резко оборвал фразу. Обернулся.

Взгляд — другой. Не тот, что на приёмах. Этот не улыбался и не прощал.

— Мисс Ватсон. — Голос тих. В нём не было ничего светского. — Что привело вас сюда?

Кровь отлила от лица. Лизи это почувствовала физически — как будто комната чуть качнулась.

— Ох, месье де Валуа. — Голос вышел ровнее, чем она ожидала. — Боюсь, я совершенно запуталась в этих коридорах. Столько одинаковых дверей — право, здесь легко заблудиться. Прошу меня извинить.

Он не ответил сразу. Медленно подошёл к столу. Накрыв ежедневник ладонью — не захлопнул, просто накрыл, глядя на неё.

— Дамская комната, мисс Ватсон, — произнёс он наконец, — находится в конце коридора. Её дверь, смею заметить, имеет особый знак. Вряд ли можно спутать.

Каждое слово — отдельно. Как гвоздь.

— Разумеется. — Она выдавила улыбку. — Моя рассеянность. Ещё раз прошу простить. Повернулась. Пошла.

Его взгляд — она не видела его, но чувствовала — шёл за ней до самого поворота.

В главном зале она взяла бокал с подноса. Пальцы слегка дрожали — она это заметила и сжала бокал крепче, пока не перестали. Выпила половину. Поставила.

Маргарета оказалась рядом — неизвестно откуда, бесшумно, как умела только она.

— Нам пора, — сказала она тихо.

Это не было вопросом.

В автомобиле Маргарета кивнула Жаку — тот тронул машину без слов. За окном поплыли ночные бульвары, редкие фонари, силуэты деревьев.

— Говори, — сказала Маргарета. Не глядя на неё. Просто сказала.

Лизи смотрела в окно.

— Я вошла к нему. Он говорил по телефону. На столе лежал ежедневник — я увидела коды. Цифровые группы. Аббревиатуры. Не французские.

Маргарета молчала.

— Он обернулся. Видел меня. Понял.

— Что именно понял?

— Что я не случайно там оказалась.

Фонарь за окном прошёл мимо. Потом ещё один.

Маргарета протянула руку и сжала пальцы Лизи — крепко, на секунду, потом отпустила.

— Ты вышла, — сказала она. — Это главное.

Помолчала.

— Этот мир не любит, когда в него заглядывают, Лизи. Я говорила тебе.

Лизи кивнула.

— Знаю.

— Нет, — сказала Маргарета спокойно. — Раньше ты это слышала. Теперь — знаешь.

Машина свернула на авеню Анри-Мартен и замедлила ход.

В своей комнате Лизи не зажигала лампу. Просто опустилась на край кровати — в том же платье, в том же жакете — и сидела.

Сердце успокоилось. Руки больше не дрожали.

Она думала о его взгляде. О том, каким он стал, когда обернулся. Не злым — это было бы проще. Расчётливым. Взглядом человека, который быстро пересчитывает варианты.

Он знал теперь, что она — не просто молодая англичанка при Маргарете.

А она знала, что он — не просто коллекционер редких книг.

Времени оставалось мало. Это она понимала отчётливо — как понимают не умом, а всем телом сразу, когда что-то необратимо сдвигается.

Она встала. Подошла к столу. Зажгла лампу.

Взяла блокнот и начала записывать всё, что успела увидеть на странице ежедневника. Цифры, порядок, аббревиатуры. Пока память держала.

За окном Париж спал.

Лизи писала до рассвета.

Глава 12. На грани

Париж, июль 1914 года

Ночью Лизи не спала.

Она лежала в темноте и смотрела в потолок, и в голове снова и снова прокручивалась одна картинка: страница ежедневника. Ряды цифр. Аббревиатуры. Два слова, подчёркнутых дважды. Она видела их так отчётливо, как видят то, что успели записать, — потому что успела записать. Но записи не давали ответа. Только новые вопросы.

Кому он звонил? На каком языке говорил — она не успела понять. Не французский. Не английский. Слишком мягкие согласные для немецкого.

Она перевернулась на бок.

За окном Париж жил своей ночной жизнью — далёкий смех, цокот копыт, раз в час — гул мотора. Обычный город. Обычная ночь.

Для всех остальных.

Утром она взяла у Мари карту Парижа — большую, сложенную в восемь раз, с потёртыми краями, из тех, что продают у Северного вокзала. Разложила на столе. Достала блокнот.

Методично, по памяти, отметила всё, что знала о Филиппе. Адрес его квартиры на улице Сен-Жак — он упоминал как-то, вскользь. Галерея на улице Лафайет, куда он заходил дважды, пока она за ним наблюдала. Аукционный дом на улице Лилль — вчера. И ещё один адрес — тот, что она услышала случайно, когда он говорил с кем-то по телефону на приёме у виконтессы. Он назвал улицу — просто улицу, без номера. Тогда она не придала значения.

Теперь нашла её на карте.

Район у Сен-Лазар. Девятый округ. Доходные дома, мелкие лавки, ничего, что могло бы заинтересовать человека из круга Маргареты.

Лизи смотрела на отметку долго.

Потом сложила карту, убрала в сумку и пошла переодеваться.

Серая юбка. Строгая блузка с высоким воротником. Тёмная шляпка — не та, что носила на приёме, а простая, без украшений. Перчатки сняла — с перчатками выглядишь как дама, а ей нужно было выглядеть как никто.

Маргарета была на репетиции до полудня.

Лизи вышла в четверть десятого.

Улица нашлась быстро. Короткая, между двумя бульварами, с бульжной мостовой и фасадами, которые когда-то были белыми. Дом в середине квартала — пятиэтажный, с тёмными окнами на первом этаже и бельём на верёвке между вторым и третьим. Парадная дверь приоткрыта. Из-за неё тянуло сыростью и старым деревом.

Лизи вошла.

Лестница была крутой, с узкими ступенями, покрытыми истёртым линолеумом. Перила шатались. На первой площадке — стопка газет, перевязанная бечёвкой. На второй — детские ботинки у двери.

Она шла медленно. Прислушивалась.

Тишина.

Потом — скрип.

Лизи остановилась.

Снизу. С первой площадки. Одна половица, потом другая. Чьи-то шаги — тяжёлые, неторопливые.

Она не обернулась сразу. Сделала ещё один шаг вверх — как будто просто идёт дальше. Потом обернулась, как будто случайно.

На лестнице стоял мужчина.

Высокий. Сутулый. Плащ цвета мокрого асфальта, шляпа низко надвинута. Лица не видно — только подбородок, острый, с тёмной щетиной.

Он смотрел на неё.

— Простите, — сказала Лизи по-французски. Голос — ровный, чуть растерянный, как у туристки. — Я ищу квартиру месье Дюбуа. Мне сказали, здесь...

Мужчина не ответил сразу. Поднял руку. Указал вверх — длинным, костлявым пальцем.

— Третий этаж, мадемуазель.

Лизи кивнула.

— Мерси.

Повернулась. Пошла вверх.

Шаги за спиной не возобновились.

Она дошла до третьего этажа. Три двери. За одной — радио, что-то джазовое, приглушённое. За другой — тишина. За третьей — ничего.

Никакого Дюбуа. Никого, к кому она могла бы идти.

Лизи стояла на площадке и слушала.

Снизу — скрип. Первая ступень. Вторая.

Он шёл за ней.

Не быстро. Не медленно. Уверенно — как идут люди, которым некуда торопиться, потому что они знают, что никуда не денешься.

Лизи прошла мимо трёх дверей к концу коридора. Боковой проход. Узкий, тёмный — хозяйственный, для прислуги. Она помнила такие по лондонским доходным домам. Если есть парадная лестница, есть и чёрная.

Дверь в конце. Деревянная, с простой щеколдой.

Она откинула щеколду. Толкнула.

Чёрная лестница была ещё уже — одному пройти, не больше. Ступени деревянные, старые. Лизи пошла вниз — быстро, держась рукой за стену, потому что перил не было.

Сверху — грохот. Дверь в коридоре ударилась о стену.

Он нашёл проход.

Лизи побежала.

Ступени. Поворот. Ещё ступени. Площадка — дверь на улицу, засов, она рванула его вверх, плечом в дверь —

Переулок. Узкий, между глухими стенами. Запах мусора и сырого камня. Влево — тупик. Вправо — просвет, поворот.

Вправо.

Она бежала. Каблуки стучали по булыжнику — слишком громко, слишком заметно — она на ходу сбила темп, перешла на быстрый шаг, потому что женщина, бегущая по улице, это крик, а женщина, идущая быстро — просто женщина, которая торопится.

За углом — улица. Широкая, с тротуарами, с людьми.

Лизи вышла из переулка и не остановилась. Влилась в поток пешеходов. Не оглядывалась. Прошла двадцать метров, тридцать, свернула к витрине — встала, делая вид, что смотрит на выставленные шляпы.

В отражении стекла — улица. Вход в переулок.

Мужчина вышел через несколько секунд. Встал. Повернул голову влево, вправо. Взгляд прошёлся по тротуару — медленно, методично.

Лизи не двигалась.

Он смотрел в её сторону. Задержался на секунду.

Её пальцы сжали ремень сумки.

Мужчина пошёл влево. Прочь.

Лизи выдохнула. Медленно. До конца.

Подождала ещё минуту. Потом ещё.

Потом вышла из-под витрины и пошла в противоположную сторону.

На углу стоял омнибус — большой, с империалом, запряжённый двумя лошадьми. Кондуктор стоял на подножке. Лизи не думала — поднялась, сунула монету, прошла в глубину.

Омнибус тронулся.

Она сидела у окна и смотрела, как улица уплывает назад. Руки лежали на коленях. Пальцы — белые там, где сжимали сумку.

Она разжала их. Положила ладони плашмя на колени.

Это был не случайный человек в доходном доме.

Он ждал её.

Дверь дома на авеню Анри-Мартен открылась прежде, чем Лизи успела позвонить.

Маргарета стояла в прихожей в домашнем платье. Взглянула на неё — одного взгляда хватило.

— Боже. Что с тобой?

Лизи шагнула через порог. Просто шагнула вперёд — и Маргарета уже держала её, крепко, обеими руками, и Лизи почувствовала, как только сейчас, только в этих руках, можно наконец позволить себе не держаться.

— Руки ледяные, — тихо сказала Маргарета. — Что случилось?

— За мной шли, — выдохнула Лизи. — Из того дома. Я ушла, но он ждал меня там. Он знал, что я приду.

Маргарета не ахнула. Не переспросила. Только сильнее сжала её плечи.

— Пойдём.

В гостиной Маргарета принесла плед, накрыла ей плечи. Поставила на столик рюмку коньяка — не спрашивая — и села рядом.

— Рассказывай. Всё. По порядку.

Лизи рассказала. О карте. Об адресе у Сен-Лазар. О мужчине на лестнице. О том, как он шёл за ней — не бежал, просто шёл, и в этом было что-то хуже бега. О переулке. О витрине. Об омнибусе.

Маргарета слушала. Её пальцы один раз коснулись руки Лизи и остались там.

Когда Лизи замолчала, Маргарета некоторое время не говорила. Встала. Подошла к окну. Сад был тихим, ярким на солнце — яблони, кот на скамейке, полная противоположность тому переулку.

— Он не уличный человек, — сказала она наконец. — Такие не кричат и не бегут. Его задача была — посмотреть на тебя. Понять, кто ты. — Короткая остановка. — Возможно — взять тебя. Если б решил, что нужно.

— Почему не взял?

Маргарета обернулась.

— Потому что ты ушла раньше, чем он решил. — В её взгляде было что-то, чего Лизи не видела прежде — не страх, не жалость. Что-то спокойное и очень серьёзное. — Лизи. Ты понимаешь, что это уже не игра в наблюдение?

— Понимаю.

— Нет, — сказала Маргарета так же, как сказала вчера в автомобиле. — Раньше ты понимала умом. Сейчас — телом. Это другое.

Лизи смотрела на рюмку с коньяком. Взяла. Выпила до дна.

Маргарета вернулась, села. Взяла её руки в свои.

— Отдохни. Несколько часов. Завтра решим, что дальше.

— А если он найдёт этот дом?

— Этот дом, — сказала Маргарета ровно, — знает людей, которых Филипп де Валуа предпочтёт не беспокоить. — Она встала. — Отдыхай.

Вышла. Дверь закрылась тихо.

Лизи сидела в тишине. Плед на плечах. Пустая рюмка на столике.

Потом что-то сдвинулось внутри — сдвинулось и отпустило. Слезы пришли сами, без предупреждения, без всхлипов — просто потекли, и она не стала их останавливать. Пусть. Это было не слабостью. Это было телом, которое наконец получило разрешение.

Она больше не смотрела на всё это со стороны.

Она была внутри. По-настоящему внутри.

И пути назад уже не было.

Глава 13. Последний акт

Париж, конец июля 1914 года

Утром Лизи не вышла на прогулку.

Она сидела в библиотеке Маргареты — небольшой комнате с низкими полками и единственным окном во двор — и раскладывала перед собой то, что успела записать за эти две недели. Листки из блокнота. Цифровые группы из ежедневника Филиппа, восстановленные по памяти. Аббревиатуры, которые она тогда не поняла и которые теперь, рядом со старыми военными справочниками с полки Маргареты, начинали складываться в нечто конкретное.

Не торговые маршруты.

Не коллекционерские пометки.

Обозначения пограничных постов. Численность частей. Даты — и даты были совсем близко.

Лизи положила карандаш. Посмотрела на листки.

Он был не мошенником. Не светским авантюристом. Он был звеном — аккуратным, хорошо встроенным, в цепи, которую она ещё не видела целиком. Но уже видела достаточно.

Достаточно, чтобы понять: уйти из Парижа сейчас — значит оставить это здесь. Без имён. Без доказательств. Только её слово против его безупречной репутации.

Она собрала листки. Убрала в блокнот. Убрала блокнот в сумку.

Вечером было приём в посольстве нейтральной страны. Маргарета сказала об этом за завтраком, коротко, не глядя на неё. Лизи ответила: «Я иду».

Маргарета кивнула. Ничего не добавила.

Посольство встретило их люстрами, мундирами, запахом свежих цветов и шампанского. Лизи взяла бокал, не притронулась к нему и начала смотреть.

Филипп появился через четверть часа после их прихода. Безупречный, как всегда. Тёмный фрак, ровная улыбка, лёгкий наклон головы при встрече взглядов.

Он увидел её. Кивнул — вежливо, без лишнего.

Она ответила тем же.

Прошёл час. Она следила за ним краем зрения — не пристально, просто держала в поле. Он трижды выходил в боковой коридор. Первый раз вернулся через три минуты. Второй — через пять. Третий раз она ждала семь минут и поняла: сейчас или никогда.

Она поставила бокал. Пошла следом.

Дверь была приоткрыта.

Лизи толкнула её и вошла.

Филипп стоял у окна. Сигара в руке, локоть на подоконнике, взгляд — в сад. На столике рядом — смятый лист. Он не успел убраться.

Обернулся медленно. Без спешки.

— Мисс Ватсон. — Голос — тёплый, почти обрадованный. — Вы тоже сбежали от посольских речей? Не могу вас упрекнуть. После третьего тоста за мир в Европе хочется либо выпить по-настоящему, либо исчезнуть.

— Я искала именно вас, — сказала Лизи.

Он чуть приподнял бровь — вежливо, заинтересованно.

— Польщён. Присаживайтесь.

— Благодарю. Я постою.

Она не двигалась от двери. Смотрела на лист на столике. Он проследил её взгляд — спокойно, без рывка.

— Старые карты, — сказал он. — Я коллекционирую исторические маршруты. Наполеоновские кампании. Вас интересует?

— Смотря какие маршруты.

— О, любые. — Он поднёс сигару к губам. — Маршрут, если задуматься, это квинтэссенция человеческого замысла. Откуда. Куда. Зачем. Всё остальное — детали.

— И всё же детали бывают важны, — сказала Лизи. — Например — даты.

Пауза. Совсем короткая.

— Даты, — повторил он задумчиво, как повторяют слово, перекачивая его. — Вы правы. Без даты маршрут — просто линия на бумаге. Мёртвая геометрия.

— А с датой — план.

Он посмотрел на неё. Улыбка осталась, но в глазах что-то сдвинулось — едва заметно, как тень от облака.

— Вы изучали историю, мисс Ватсон?

— Литературу.

— Ах да, вы говорили. — Он сделал шаг от окна — неторопливо, в сторону, не к ней. Просто переменял позицию. — Литература и история похожи в одном: обе занимаются тем, чего уже нет. Прошлое безопасно. Настоящее — куда опаснее для изучения.

— Согласна, — сказала Лизи. — Особенно если изучаемое настоящее — не коллекция марок.

Он остановился. Взял бокал с каминной полки. Сделал глоток.

— Вы очаровательны, мисс Ватсон. Право, очаровательны. — Голос — мягкий, почти отеческий. — Молодая женщина с воображением — это редкость. Воображение рисует связи там, где их нет. Видит узоры в случайных линиях. Это не недостаток — это дар. Только... — он чуть наклонил голову, — иногда этот дар утомляет тех, кто рядом.

Он говорит, что я выдумываю, — поняла Лизи. — И говорит это так, что возразить — значит выглядеть взволнованной девочкой.

— Полагаю, — сказала она ровно, — что утомительны не те, кто видит узоры. А те, кто их создаёт и надеется, что никто не заметит.

Что-то в нём напряглось. Не снаружи — внутри. Она это почувствовала по тому, как он поставил бокал. Чуть аккуратнее, чем нужно.

— Смею заметить, — произнёс он, — что вы рассуждаете с уверенностью человека, который знает значительно больше, чем может знать. Это... интригует. Откуда такая осведомлённость у скромного аналитика из Лондона?

Укол был точным. Он знает, кто я. Давно знает.

— Из внимательного чтения, — ответила она. — Иногда достаточно смотреть на то, что лежит на столе.

Он посмотрел на лист. Посмотрел на неё.

— Любопытный взгляд, — сказал он тихо. — Только любопытство, мисс Ватсон, как и многие прекрасные вещи, бывает опасным. Особенно в городе, который через несколько недель станет совсем другим.

— Для некоторых он уже другой.

— Да. — Он кивнул. Серьёзно, почти задумчиво. — Для некоторых — да. Для тех, кто понимает, куда дует ветер. Таким людям я всегда советую одно: уезжайте туда, где вас ждут. Пока ещё ходят поезда и пока... — пауза, — пока никто не принял решение о вас.

О вас. Не «пока всё спокойно». Не «пока есть время». О вас.

Лизи почувствовала, как кровь чуть отливает от лица. Взяла это ощущение и убрала его вниз. Глубоко.

— Благодарю за заботу, месье де Валуа, — сказала она. — Но я предпочитаю сама решать, где меня ждут.

— Разумеется. — Он улыбнулся. — Самостоятельность — прекрасное качество. Только самостоятельные люди, мисс Ватсон, несут самостоятельную ответственность. За каждый свой шаг. — Взгляд скользнул по ней — быстро, оценивающе. — За каждый визит не в ту комнату. Вот оно.

Он знал про доходный дом. Знал про аукцион. Знал всё — и только что дал ей это понять. Элегантно. Без единого прямого слова.

И что-то внутри неё — молодое, горячее, то, что ещё не умело ждать — вдруг дрогнуло. — Маршруты войск, — сказала она. Тихо. Но слова вышли как гвозди. — Это не Наполеон. Это сейчас. Это приказы. Это передвижения. И вы это передаёте. Кому — я ещё не знаю. Но узнаю.

Тишина.

Филипп смотрел на неё. Улыбки не осталось. Не было злости — было что-то хуже. Спокойный, холодный пересчёт.

— Вы только что сказали кое-что очень серьёзное, — произнёс он наконец. Тихо. Почти мягко. — В комнате, где нет свидетелей. Девушка без имени, без полномочий, без единого доказательства — человеку, у которого есть всё это. — Чуть наклонил голову. — Вы понимаете, как это выглядит?

Она понимала. Слишком хорошо.

Он только что показал ей: она проиграла этот раунд. Она сорвалась — именно тогда, когда не должна была. Сказала прямо то, что нужно было держать при себе. Отдала ему знание о том, что она знает, — не получив взамен ничего.

Урок был болезненным.

И он видел, что она это понимает.

— Уезжайте домой, мисс Ватсон, — сказал он. Без угрозы. Почти по-доброму. — Лондон — прекрасный город. И там вам будет значительно... спокойнее.

За спиной распахнулась дверь.

Посол — грузный, с орденской лентой через плечо, с бокалом в руке. Он остановился на пороге, оглядел их обоих с лёгким удивлением.

Филипп обернулся первым. Улыбка — мгновенно, безупречно.

— Ваше Превосходительство! — Голос — тёплый, светский, абсолютно спокойный. — Мы с мисс Ватсон обсуждаем философию. Что проще для понимания — красота или истина?

Лист исчез. Лизи не видела как — просто в одну секунду он был, в следующую его не было.

Посол засмеялся, сказал что-то про истину и красоту, приглашающе махнул рукой в сторону зала. Филипп пропустил его вперёд. Проходя мимо Лизи, на долю секунды задержался.

Не повернул головы. Просто сказал — тихо, почти беззвучно:

— Уезжайте домой, мисс Ватсон. Пока ходят поезда.

И вышел.

Лизи стояла в пустой курительной. Дым от сигары ещё не рассеялся. На столике — только пепельница и каталог аукциона. Никакого листа. Никаких следов.

Она подождала. Вышла в зал. Взяла с подноса первый попавшийся бокал и выпила, не глядя что.

Маргарета оказалась рядом через минуту. Взяла её под руку — легко, как будто просто идут вместе.

— Домой, — сказала она тихо.

В гостиной горел камин — Мари разожгла, хотя вечер был тёплым. Лизи опустилась на ковёр у ног Маргареты и положила голову ей на колени. Маргарета отложила книгу. Коснулась её волос.

Молчали долго.

— Он назвал меня наивной девочкой, — сказала Лизи наконец. — Которой объяснят её место.

Маргарета не ответила сразу.

— Это значит, что он испугался, — сказала она. — Такие люди оскорбляют только тогда, когда им нужно время.

— Это маршруты войск, Маргарета. Я поняла по обозначениям. Он готовит что-то — или передаёт кому-то. До войны.

Рука в волосах остановилась.

Маргарета подняла взгляд к окну. В темноте сада ничего не было видно — только отражение огня в стекле.

— Я кое-кому дала сигнал, — сказала она. Тихо, почти про себя. — Несколько дней назад. На всякий случай. — Встала. Подошла к окну. — Теперь я ускорю это.

Лизи тоже встала.

— Маргарета. Кому?

Та обернулась. Посмотрела на неё — долго, как смотрят, когда решают, сколько правды сказать.

— Людям, которые занимаются такими вещами. — Пауза. — Как твой отец.

Лизи не пошевелилась.

— Ты знаешь, где он?

— Нет. — Маргарета покачала головой. — Но я знаю, как передать. Этого достаточно.

Она подошла. Взяла Лизи за плечи — не нежно, а твёрдо, как берут человека, которому нужно смотреть прямо.

— Слушай меня. Ты сделала то, что должна была. Ты увидела, запомнила, не сломалась. Теперь это должны получить те, кто знает, что с этим делать.

— Я не уеду.

— Я знаю. — Маргарета чуть усмехнулась — не светски, а по-настоящему, устало и тепло одновременно. — Я и не предлагаю.

Огонь в камине тихо потрескивал. За окном — ничего. Только Париж, который ещё не знал, что у него осталось меньше двух недель до того, как всё изменится.

— Что дальше? — спросила Лизи.

Маргарета отпустила её плечи.

— Дальше — утро, — сказала она просто. — Сначала утро. Потом решим.

Глава 14. Расплата

Париж, июль 1914 года

Ночью Лизи не спала.

Она лежала поверх покрывала, не раздеваясь, и смотрела в потолок. Из темноты за окном не доносилось почти ничего — редкий стук копыт, чей-то кашель на соседней улице. Париж затихал медленно, будто через силу. Лизи считала эти звуки, как считают шаги, когда нужно унять дыхание.

Она перебирала каждую деталь. Курительная комната. Сигара. Лист, который он свернул под ладонью — так быстро, так виртуозно, что она почти усомнилась: был ли он вообще? «Мы с мисс Ватсон обсуждаем философию» — и посол в дверях, появившийся в самую нужную секунду. Слишком вовремя. Или в самый последний момент. Она так и не поняла.

Утром Маргарета уже сидела в библиотеке.

Не в халате, как обычно. В тёмном платье с высоким воротником, застёгнутом до последней пуговицы, — том самом, которое Лизи раньше видела лишь тогда, когда хозяйка дома принимала людей, чьих имён не называли. На столе перед ней лежало несколько конвертов без марок. Не утренняя почта. Другое.

— Садись, — произнесла Маргарета, не поднимая глаз от бумаги.

Лизи присела на край кресла напротив и сложила руки на коленях. Маргарета читала что-то, делала короткие карандашные пометки — не те, которые оставляют для памяти, а те, что значат только для одного человека. Потом отложила карандаш. Посмотрела на Лизи — спокойно, внимательно, как смотрят на человека, у которого хотят услышать правду, а не её версию.

— Рассказывай. С самого начала.

Лизи рассказала. Голос держала ровно. Только факты: курительная комната, ежедневник, коды. Посол, который появился в дверях в ту самую секунду, когда стало ясно, что всё кончено. Слова Филиппа — тихие, отточенные, как будто он их репетировал.

Маргарета не перебила ни разу. Не кивала для ободрения. Просто слушала — так, как слушают люди, для которых каждое слово — не участие в разговоре, а сбор сведений.

Когда Лизи замолчала, Маргарета встала.

Подошла к секретеру у окна — Лизи никогда не видела, чтобы она его открывала, — вынула из внутреннего кармана платья маленький ключ и отперла верхний ящик. Достала записную книжку в чёрном переплёте, полистала, нашла нужную страницу, прочитала что-то — одну строку, не больше. Закрыла книжку и убрала обратно, щёлкнув замком.

— Подожди меня здесь, — сказала она.

Вышла. Шаги в коридоре. Потом — тихий голос из соседней комнаты, где стоял телефонный аппарат. Сначала по-немецки — быстро, несколько коротких фраз, без вежливостей, как говорят с тем, кому не нужно объяснять контекст. Потом пауза. Потом по-английски — с другой интонацией, осторожнее, медленнее, будто взвешивая каждое слово. Снова пауза. Потом по-голландски, и это был уже совершенно другой голос: ниже, без украшений, как у человека, говорящего с тем, перед кем не нужно ничего изображать.

Лизи сидела и смотрела на секретер.

Она поняла кое-что — не умом, а тем способом, каким понимают вещи, которые всегда были перед глазами. Маргарета не позвонила «знакомым». Она сделала три разных звонка трём разным людям. На трёх языках. Каждый раз меняя не только слова — меняя себя. И делала это так буднично, так привычно, что было ясно: это не исключение. Это работа.

Когда Маргарета вернулась, она снова была прежней. Присела в кресло, скрестила руки на коленях.

— Всё, — сказала она.

Лизи смотрела на неё, не отводя взгляда.

— Вот так. Просто — всё?

— Да. — Маргарета взяла со стола небольшую фарфоровую чашечку — кофе давно остыл — и поднесла к губам, не отпивая. Потом поставила обратно. — Его возьмут сегодня вечером. Вероятнее всего, у него дома. Его «коллекция», — она произнесла это слово так, будто поставила кавычки двумя пальцами, — будет изучена. Остальное не наше дело.

— Не наше дело, — повторила Лизи.

Это не был вопрос. Маргарета услышала разницу. Подняла глаза.

— Лизи.

— Я его вычислила, — сказала Лизи. Спокойно, как человек, докладывающий факты начальству, которое их уже знает. — Я. Я нашла коды в ежедневнике. Я следила за маршрутами его встреч. Я провела ту операцию в доходном доме, после которой едва унесла ноги. Я была на том приёме в посольстве вчера вечером. И его взгляд в курительной комнате видела — тоже я. Не ваши люди. Я.

Маргарета поставила чашку. Аккуратно, без лишних движений. Молчала секунду — не потому что не знала, что ответить, а потому что выбирала, что именно говорить.

— Да, — сказала она наконец. — Ты.

— Тогда почему меня нет рядом, когда его берут?

— Потому что так работает мир, в который ты вошла.

Это прозвучало не как утешение. Как диагноз.

Лизи поднялась. Медленно, без резкости. Подошла к окну и остановилась, глядя на авеню. За стеклом молочник снимал с двуколки бидоны — один, другой, третий, — совершенно безразличный к любым тайнам.

— Я хотела бы хотя бы видеть его лицо, — сказала она в стекло. — Когда он поймёт.

— Нет, — ответила Маргарета. Не жёстко — просто окончательно, как закрывают ставни. — Это ты думаешь, что хочешь. На самом деле ты хочешь подтверждения. Чтобы кто-то посмотрел на тебя и сказал: да, ты была права. Да, ты это сделала.

Лизи не ответила.

— Никто не скажет, — продолжала Маргарета. — Не потому что ты не заслуживаешь. А потому что в этой работе благодарности нет. Ни для кого. Никогда. — Она встала, прошла к окну и встала рядом с Лизи — не вплотную, но близко. — Я это поняла не сразу.

Они смотрели на улицу. Молочник уехал. Авеню была почти пустой.

— Ты информатор, — сказала Маргарета тише. — Это не оскорбление. Это роль. Твоя роль закончилась, когда ты вошла сюда и рассказала мне всё. Что произошло дальше — это другие роли. Других людей.

— Значит, я просто — источник.

— Сейчас — да.

Лизи отвернулась от окна. Посмотрела на Маргарету прямо — так, как смотрят, когда хотят убедиться, что слышат именно то, что говорят, а не то, что хочется услышать.

— Вы знали о нём раньше меня, — произнесла она.

Маргарета не отвела взгляда.

— Я подозревала. Но подозрение — не доказательство. Ты дала мне доказательство.

— Значит, вы меня использовали.

— Я тебя защищала. — Маргарета сделала короткое, почти неуловимое движение — чуть опустила плечи, будто что-то сбросила с них. — Это не одно и то же. Но иногда — почти.

Лизи молчала.

— Когда я только приехала, — сказала она наконец, — вы брали меня на эти приёмы. Он там всегда был. Вы знали.

— Да.

— Вы хотели, чтобы я его увидела.

— Я хотела, чтобы ты сама решила — стоит ли смотреть. — Маргарета повернулась к ней. — Ни разу не сказала тебе «посмотри на него». Ни разу не навела. Это ты. Твоё любопытство. Твоя работа. Твой результат. — Она чуть помедлила. — И это важно. Потому что в следующий раз никого рядом не будет. Ты будешь одна.

В коридоре раздались шаги — кто-то из прислуги прошёл мимо и не остановился. Дом жил своим спокойным ритмом, не интересуясь их разговором.

— Ты злишься, — сказала Маргарета.

— Немного.

— Хорошо. — Маргарета едва заметно качнула головой — не одобряя, а констатируя. — Довольные становятся небрежными.

Лизи почти улыбнулась. Не до конца.

Ближе к вечеру в дверь позвонили. Лизи сидела у себя в комнате — не из-за обиды, а потому что хотела думать, а думать получалось только в одиночестве. Она слышала голос прислуги в прихожей. Короткий обмен. Звук закрывающейся двери.

Потом — шаги Маргареты по коридору. Они остановились перед её дверью. Лизи ждала, глядя на ручку. Ручка не шевельнулась.

Маргарета прошла дальше. Судя по звуку — в библиотеку.

Лизи встала. Прошла коридор сама.

Маргарета стояла у окна, держа в руке небольшой сложенный листок. Не конверт — просто бумага, сложенная вчетверо, явно переданная из рук в руки. Она обернулась, когда Лизи вошла, и молча протянула ей записку.

Лизи взяла. Развернула медленно, как разворачивают вещи, к которым не торопятся прикасаться, — и прочитала три строки без подписи, без имён.

Взята сегодня в восемь вечера. Сопротивления не оказал. Материалы изъяты.

Она читала их долго. Дольше, чем требуют три строки. Потом сложила листок и вернула Маргарете — точно тем же движением, каким получила.

— Вот и всё, — сказала она.

— Да.

Лизи подошла к окну. За стеклом на авеню зажигались газовые фонари — один за другим, через равные промежутки, привычно и без спешки, как будто в Париже этим вечером не произошло ровным счётом ничего.

— Он не знает, что это была я, — произнесла она.

— Нет.

— И не узнает.

— Вероятно, нет, — подтвердила Маргарета. Она не добавила ничего успокаивающего. Просто стояла рядом.

Лизи смотрела на фонари. Слова выходили сами, без усилия, будто она говорила не для Маргареты, а для себя — просто вслух.

— Для него это просто — попался. Ошибка. Случайность. А для меня — это те недели. Мокрое платье на балу. Подвал в доходном доме, где я едва не налетела на его человека. Ночь после посольского приёма, когда я не могла спать, потому что всё перебирала в памяти снова и снова. Она помолчала. — Я правильно всё понимаю — так работает эта работа. Понимаю. Но сейчас мне нужно немного побыть одной.

Маргарета ничего не ответила. Она просто тихо, без лишних слов, вышла из комнаты — так, как уходят люди, которые умеют оставить человека с тем, что ему нужно пережить самостоятельно.

Лизи осталась у окна.

Она не плакала. Просто стояла, положив ладони на подоконник, и смотрела, как за стеклом гаснет последний розоватый свет над крышами. Где-то там, в Париже, Филипп де Валуа сидел в комнате без окон и не знал её имени.

Она вычислила его. Она дала им доказательство. Она сделала всё правильно.

И это было именно так обидно, как бывает обидно, когда делаешь всё правильно.

Глава 15. Откровения и уроки

Париж, июль 1914 года

После того как судьба Филиппа де Валуа была решена, в особняке воцарилась тишина другого рода — не та, что бывает поздним вечером, а та, что приходит, когда долго ждёшь чего-то, и оно наконец кончилось.

Лизи сидела в гостиной у камина. Огонь уже не горел — только угли под серым пеплом, изредка вспыхивавшие тёмным оранжевым, когда в трубе тянул сквозняк. Она не зажигала лампу. Сидела в этом полусвете и позволяла себе не думать.

Маргарета вошла тихо. Накинула на плечи шаль из индийского шёлка — той самой, которую носила только дома, только когда не нужно было никому ничего изображать. Опустилась в кресло напротив. Взяла из рабочей корзинки какое-то шитьё, посмотрела на него рассеянно и положила обратно.

Они помолчали. Это было хорошее молчание — из тех, что бывает между людьми, которым не нужно заполнять пространство.

— Ты не должна завтра же начинать думать о следующем, — сказала Маргарета.

Лизи подняла взгляд.

— Я не думаю о следующем.

— Думаешь. Слышно.

Лизи чуть наклонила голову.

— Это так заметно?

— Тем, кто знает, как это выглядит, — ответила Маргарета. — Я так же сидела после каждого раза. Раз — и всё. Человек пойман, дверь закрыта. А ты сидишь и не знаешь, куда деть руки.

— Именно, — тихо сказала Лизи.

— Это пройдёт. Но не быстро.

Она взяла со столика остывшую чашку — поднесла к губам, не отпивая, поставила обратно. Лизи заметила это движение — не первый раз за эти недели. Маргарета часто так делала: брала вещи не чтобы ими пользоваться, а чтобы занять руки, пока думает.

— Ты хорошо работала, — сказала Маргарета. — Не потому что его поймали. Потому что ты не торопилась. Наблюдала дольше, чем было комфортно.

— Я почти сорвалась несколько раз.

— Я видела. На балу, когда он облил тебя шампанским, — ты стояла, и я смотрела, как ты решаешь. Уйти или остаться. — Маргарета чуть улыбнулась. — Ты осталась. Это был хороший момент.

Лизи вспомнила. Мокрые пряди у виска. Его взгляд — довольный, выверенный. Собственное желание немедленно выйти из зала.

— Мне очень хотелось уйти.

— Конечно, — сказала Маргарета. — Правильное желание в неправильный момент. Такое случается постоянно. Нужно учиться их различать.

— Как?

Она по-настоящему задумалась, прежде чем ответить.

— Когда хочешь уйти из-за страха — тело торопит. Когда потому что это действительно нужно — внутри тихо. — Пауза. — Грубый способ. Но другого у меня нет.

Лизи помолчала, усваивая это.

— А если ошибусь в различении?

— Ошибёшься, — сказала Маргарета просто. — Может быть, серьёзно. Это не катастрофа. Это опыт.

Уголёк стрельнул в камине. Тень качнулась по стене и исчезла.

Лизи смотрела на Маргарету. За эти недели она привыкла к тому, как та существует в своём доме — легко, без усилий, будто весь Париж устроен специально под её шаг. Приёмы, знакомства, разговоры. Люди, которые к ней приходили — и те, которых она не называла по имени. Она никогда не объясняла свои связи. Просто однажды звонил телефон, или приходил человек с запиской, или нужная дверь оказывалась открытой — и всё.

— Маргарета, — сказала она. — Как вы это делаете? Людей. Всех этих людей.

Маргарета посмотрела на неё с лёгким удивлением — как смотрят, когда не ждали вопроса именно об этом.

— Что именно?

— Они вам доверяют. Военные, художники, дипломаты, банкиры. — Лизи чуть покачала головой. — Это не может быть просто красота. Красота забывается.

Маргарета помолчала. Потом неожиданно рассмеялась — не светским смехом, которым смеялась на приёмах, а коротко, по-настоящему.

— Красота — это входной билет, — сказала она. — Но за дверью нужно быть кем-то другим. — Она откинулась на спинку кресла. — Я рано поняла одно: люди хотят, чтобы их слушали. По-настоящему слушали. Не кивали, не ждали своей очереди говорить. А именно слушали. Это редкость. Это ценнее любых слов.

— Вы слушаете.

— Я слушаю, — подтвердила Маргарета без ложной скромности. — И ещё я не сужу. Генерал, который мне рассказывает о своём страхе перед смертью — он не должен бояться, что я его презираю. Художник, который показывает мне неудачные работы — он знает, что я не смеюсь. Люди это чувствуют. И возвращаются.

Она говорила это легко, как о само собой разумеющемся, и Лизи думала: именно в этом всё дело. Никакой разведки, никакой сети в том смысле, в каком пишут в донесениях. Просто женщина, которой доверяли — потому что она давала людям то, что им редко давали: право быть собой, не притворяясь.

— А политика? — спросила Лизи. — Вы никогда не говорите о политике.

— Политика меня не интересует, — ответила Маргарета без паузы. — Мне интересны люди. А людям нравится думать, что их политика важна. — Она провела пальцем по подлокотнику. — Но когда им плохо — они говорят не о политике. Они говорят о том, что болит.

Лизи смотрела на неё.

— Вы умеете различать — где подлость, а где нет, — сказала она. — Это чувствуется.

Маргарета чуть наклонила голову.

— Я научилась. Не сразу. И дорого.

Она встала. Подошла к маленькому бюро у стены — не к тому секретеру, что Лизи видела утром, а к другому, обычному, с открытой крышкой — и достала оттуда что-то небольшое. Вернулась, присела обратно, и Лизи увидела: маленькая фотография в потёртой картонной рамке. Чёрно-белая, немного размытая.

— Жанна-Луиза, — сказала Маргарета, держа её так, чтобы Лизи могла видеть. — Здесь ей три года.

Девочка на фотографии смотрела прямо в объектив с тем серьёзным выражением, которое бывает у маленьких детей, когда их просят не двигаться.

— Ей сейчас двенадцать, — произнесла Маргарета. — Я не видела её с тех пор, как мы расстались.

Она смотрела на снимок — спокойно, не давая себе воли, — и только по тому, как она держала его — двумя руками, чуть крепче, чем нужно для карточки такого размера, — Лизи понимала, чего это спокойствие стоит.

— Я пишу ей, — сказала Маргарета. — Пишу ей письма. Уже несколько лет. — Она убрала фотографию в бюро, закрыла крышку. — Её отец их перехватывает. Она не знает, что я пишу. Может быть, думает, что я не думаю о ней вовсе.

Лизи не сразу нашла голос.

— Маргарета...

— Не надо, — мягко остановила та. — Я не для жалости рассказываю. — Пауза. — Я рассказываю, потому что хочу, чтобы ты знала: когда я говорю тебе что-то о жизни — это не из книг.

Они помолчали. В доме что-то тихо скрипнуло — дерево, высыхающее летней ночью.

— Рудольф, — сказала Маргарета. Имя прозвучало как слово на чужом языке, которое помнишь, но давно не произносишь. — Офицер. Старше меня на двадцать лет. Я думала, это и есть защита. Сила. Опытный человек рядом. — Она чуть усмехнулась — не горько, а с той дистанцией, которая приходит, когда боль уже не острая, а просто часть тебя. — Он увёз меня на Яву. Хорошее место, чтобы быть далеко от всех, кто тебя знает.

Она остановилась. Лизи не торопила.

— Там я впервые увидела temple dancers — танцовщиц в индуистских храмах. Я часами смотрела на них. Это был единственный язык, который я понимала без перевода. Тело говорит честнее слов. — Маргарета чуть улыбнулась — этой улыбке Лизи ещё не видела: тихой, обращённой внутрь. — Потом я взяла их язык и сделала из него свой. Я назвала себя «Мата Хари» — это по-малайски «глаз дня». Солнце. Я придумала себе происхождение, историю. И знаешь что самое удивительное?

— Что?

— Некоторые яванцы мне верили, — сказала Маргарета. — Не все, но некоторые. Вот что значит говорить на языке тела, а не на языке слов.

Лизи смотрела на неё — и думала о том, как это, должно быть, чувствуется: изобрести себя целиком, из ничего, и оказаться убедительнее, чем настоящее.

— А сын, — произнесла Маргарета ровнее, — прожил меньше двух лет. Кормилица. Или болезнь. Я до сих пор не знаю правды — и, наверное, уже не узнаю. — Её руки лежали на коленях неподвижно. — Это то, с чем живёшь. Не проходит. Просто становится частью тебя, и в конце концов перестаёшь с этим бороться.

Лизи почувствовала, как у неё сжало горло. Она молчала.

— Когда мы вернулись в Европу и всё рухнуло — брак, всё остальное — суд отдал Жанну отцу. — Маргарета подняла взгляд на Лизи. — В те времена суды редко вставали на сторону таких женщин, как я. Я была слишком заметной, слишком — как они говорили — «без моральных принципов». — Она произнесла это без горечи, почти с иронией. — Женщина, которая танцует обнажённой, не может воспитывать ребёнка. Логично, правда?

— Нет, — сказала Лизи.

Маргарета посмотрела на неё. И на секунду — только на секунду — в её лице что-то дрогнуло.

— Нет, — согласилась она тихо. — Нет, не логично.

Лизи встала с кресла. Подошла и опустилась рядом с Маргаретой — прямо на ковёр, у её ног, как опускаются, когда расстояние между двумя креслами вдруг становится слишком большим. Маргарета не удивилась. Провела рукой по её волосам — один раз, медленно, — и оставила руку у неё на плече.

Они сидели так, не говоря ничего. Угли в камине потемнели окончательно.

— Знаешь, чего я долго не понимала, — сказала наконец Маргарета. Тихо, без интонации поучения — просто как человек, который думает вслух. — Что сердце не надо защищать от жизни. Я очень долго его защищала. Думала — умнее так, безопаснее. А потом поняла: всё, от чего я его берегла, — это и была жизнь.

Лизи не ответила. Слова были не нужны.

Помолчали ещё немного. Где-то на авеню экипаж прогрохотал по брусчатке и затих.

— Маргарета, — сказала Лизи. — Можно я спрошу кое-что не про работу?

— Можно.

— Генри. — Слово вышло само, без предисловий. — Я не знаю, что с ним делать. Когда я здесь — там, в Лондоне, всё кажется таким понятным, что я уже не помещаюсь в эту понятность. А когда я думаю о нём — мне тепло. — Она чуть нахмурилась. — Это странно?

— Нет, — сказала Маргарета. — Это и есть он.

Лизи подняла голову.

— Что — он?

— Именно это. Что тепло. — Маргарета чуть переменила позу. — Знаешь, чего я не понимала в твоём возрасте? Что хорошесть человека — это не компромисс. Не «ну, хотя бы добрый». Это очень много. Это, может быть, важнее всего остального.

— Но мне с ним иногда скучно, — призналась Лизи. — Или не скучно, а... тесно. В смысле, его мир меньше моего.

— Меньше или проще?

Лизи задумалась.

— Проще.

— Это не плохо, — сказала Маргарета. — Я прожила с человеком, чей мир был больше моего. Он меня раздавил. — Пауза. — Рядом с Генри ты можешь дышать. Это заметно даже из того небольшого, что ты рассказывала. Он не требует от тебя быть другой.

— Нет, — согласилась Лизи. — Не требует.

— Значит, он уже понял что-то, что многие мужчины не понимают всю жизнь.

Лизи смотрела на угли.

— Я боюсь его обидеть, — сказала она тихо. — Тем, что я делаю. Тем, что скрываю. Он не знает, кто я на самом деле.

— Он знает, — возразила Маргарета спокойно. — Не детали. Но тебя — знает. Иначе бы не ждал.

— Вы думаете, мужчина может любить женщину, которую не понимает до конца?

Маргарета тихо засмеялась — без иронии.

— Лизи. Мужчины всю жизнь любят женщин, которых не понимают до конца. Вопрос в другом: принимают ли они это — или начинают требовать, чтобы женщина стала проще.

— Он не требует.

— Вот именно.

Лизи помолчала. Потом спросила — чуть тише, как спрашивают то, что долго не решались:

— А если... — она остановилась.

— Говори, — сказала Маргарета.

— Если я хочу быть с ним. По-настоящему. — Лизи не поднимала взгляда от ковра. — Не потому что так положено. И не потому что скоро уеду. А потому что хочу.

Маргарета не торопилась с ответом. Это было то молчание, в котором думают, а не то, в котором подбирают слова.

— Хочешь — значит, уже знаешь, — сказала она наконец. — Остальное — это просто то, что ты объясняешь себе, чтобы позволить себе то, что уже решила.

Лизи подняла голову.

— Но так не принято.

— Принято и непринято — это для тех, кому важно мнение соседей, — сказала Маргарета. Она помолчала, глядя не на Лизи, а куда-то мимо неё — туда, где за окном темнел каштан. — Я прожила достаточно, чтобы понять одно: никто из тех, кто объяснял мне, как надо,

не взял на себя ответственность за то, как вышло. Они просто отвернулись. — Она перевела взгляд на Лизи. — Правила пишут люди, которым удобно, чтобы ты оставалась на месте. Ты сама знаешь, что тебе нужно. Это знание и есть единственное, которому стоит доверять.

Лизи молчала.

— Стыд — это чужое мнение, которое ты носишь как своё, — сказала Маргарета тише. — Вот и всё. Больше ничего.

За окном что-то тихо зашелестело — ветер в листьях каштана. Лизи сидела неподвижно, и в её молчании было не смятение — а то особое, сосредоточенное внимание, с которым слушают, когда слова попадают точно.

— Я в твоём возрасте этого не знала, — добавила Маргарета. — Мне никто не говорил. — Она чуть подняла брови — не театрально, а просто. — Я говорю тебе.

Лизи посмотрела на неё. И в первый раз за этот долгий вечер улыбнулась по-настоящему.

Маргарета снова провела рукой по её волосам — медленно, как делают машинально, когда рядом кто-то близкий.

— Иди спать, — сказала она. — Завтра всё будет выглядеть понятнее.

Лизи поднялась. Постояла секунду.

— Маргарета.

— М?

— Спасибо.

Маргарета ничего не ответила. Только чуть кивнула — коротко, как кивают на что-то, что не требует слов.

Лизи вышла. Коридор был тёмным, только на лестнице горел один маленький светильник. Она шла медленно, держась рукой за перила. В голове было тихо — не пусто, а именно тихо, как бывает, когда что-то, долго занимавшее место, наконец нашло своё имя.

Она думала о Генри. Не о том, что делать. Просто о нём — о том, как он стоит под дождём у ограды и не уходит. О том, как его руки на её плечах всегда чуть неловкие и всегда настоящие.

И поняла, что уже решила.

Глава 16. До следующего раза

Париж, июль 1914 года

Чемодан был собран с вечера.

Лизи не спала. Она лежала и смотрела на него — тёмно-коричневый, с латунными застёжками, стоящий у двери как готовый приговор. Внутри — всё то же самое, с чем она приехала. Несколько платьев. Книга, которую так и не дочитала. Маленький гребень с обломанным зубцом, который она всё собиралась выбросить и не выбросила.

За окном Париж ещё спал.

Утром за столом они пили чай, и это был самый обычный завтрак — хлеб, масло, варенье из мирабели в стеклянной баночке с завернутой бумажной крышечкой. Маргарета читала газету. Лизи смотрела на её руки — как она держит страницу, как переворачивает, как на секунду останавливается на чём-то и не говорит об этом вслух.

Она запоминала руки.

Фиакр подали в половину девятого. Кучер сложил чемодан на козлы, и этот звук — негромкий, окончательный — Лизи почувствовала где-то под рёбрами.

Они ехали к Гар дю Нор через весь город. Июльский Париж за окном был таким же, каким был всегда — кафе с плетёными стульями на тротуаре, цветочница на углу с охапками гладиолусов, мальчишка, гоняющий обруч вдоль ограды. Но сегодня газетчики кричали что-то отрывистое, и у газетного киоска на рю Лафайет стояла группа мужчин, которые читали, тесно склонившись, и никто из них не смеялся.

Маргарета смотрела в окно. Лизи — на Маргарету.

Ни одна не сказала ни слова за всю дорогу. Не потому что не было что сказать. Потому что всё, что нужно было сказать, уже было сказано — ночью у камина, и до этого, и раньше, в маленьких вещах, которые не нуждаются в словах.

Вокзал обрушился шумом сразу — носильщики, тележки, объявления в рупор, паровозный пар под стеклянным сводом, сквозь который утреннее солнце падало косыми полосами. Людей было больше обычного. Лизи это видела — слишком много чемоданов, слишком мало улыбок, слишком много людей, которые оглядывались, будто проверяли, не забыли ли кого.

Они нашли нужный перрон. Нашли вагон. Носильщик принял чемодан и исчез.

Осталось время — совсем немного, не больше четверти часа.

Они стояли рядом, и обе смотрели на поезд, как смотрят на что-то, к чему не готовы, но деваться некуда. Маргарета держала в руке перчатки — не надевала, просто держала, переминая в пальцах кожу. Лизи это заметила. За все эти недели она ни разу не видела, чтобы Маргарета мяла перчатки.

— Генри встретит тебя? — спросила Маргарета.

— Да. Он написал, что будет на перроне.

— Хорошо.

Они снова замолчали. По перрону прошёл офицер с кожаным портфелем, посмотрел на часы, свернул куда-то в сторону. Мимо пробежала маленькая девочка с бантом — совсем небольшая, года три, — догоняя мать и крича что-то неразборчивое. Маргарета посмотрела ей вслед. Дольше, чем нужно было бы.

Лизи увидела это. И поняла, что лучше не понимать.

— Ты будешь в Париже? — спросила она, чтобы прервать то, что было в этом взгляде.

— Нет, — ответила Маргарета. Повернулась к ней. — Мне нужно в Берлин. А потом посмотрим.

Она произнесла это легко, но Лизи знала эту лёгкость. Это была та лёгкость, за которой прячут то, о чём не стоит говорить на вокзале.

— Маргарета, — сказала Лизи. Остановилась.

— М.

— Я не знаю, как... — Она посмотрела на поезд. На пар. На начищенные до блеска рельсы. — Я не умею прощаться. Я раньше думала, что умею.

— Никто не умеет, — сказала Маргарета просто. — Просто одни молчат, другие говорят лишнее.

Лизи посмотрела на неё.

— А ты?

— Молчу, — сказала Маргарета. — Как правило.

Но она не молчала сейчас. Она смотрела на Лизи так, как смотрят на что-то, что хотят запомнить точно — не приблизительно, а точно, до последней черты. Взгляд, который Лизи не умела бы описать, потому что в нём было слишком много всего сразу — и гордость, и тревога, и что-то ещё, для чего у неё не было слова.

Лизи опустила взгляд. На перчатки в руках Маргареты. На её пальцы. Узкие, с коротко остриженными ногтями — совсем не такие, какими должны быть руки женщины, которую весь Париж знает как воплощение роскоши.

Она взяла эти руки в свои. Просто взяла и держала.

Маргарета не отняла.

— Я вернусь, — сказала Лизи.

Маргарета чуть сжала её пальцы.

— Я знаю, — ответила она. Тихо, ровно. И всё-таки — чуть хриловато.

Со стороны локомотива донёлся короткий предупредительный гудок. Где-то вдоль состава начали закрываться двери.

Лизи подняла голову. Маргарета смотрела на неё — и в её глазах, в самом их углу, была влага, которую она не убирала и о которой, кажется, не знала сама. Или знала — и решила не убирать.

Лизи сделала шаг вперёд. Маргарета сделала навстречу — половину шага, не больше, — и они обнялись так, как обнимаются люди, которые обе понимают, что это не последний раз, но ни одна в это по-настоящему не верит.

Лизи уткнулась лицом в плечо Маргареты. Почувствовала ткань её платья — тонкая шерсть, чуть согревшаяся за утро. Почувствовала её руки у себя на спине — крепко, надёжно, совсем не так, как обнимают на прощание, а так, как держат.

Маргарета что-то произнесла тихо. По-голландски — несколько слов, которых Лизи не знала. Но она не спросила. Она слышала их не ухом, а как-то иначе — и этого было достаточно.

Они разжали руки одновременно.

Лизи сделала шаг назад. Смотрела на Маргарету — прямо, не отводя взгляда, потому что если отвести взгляд сейчас, то это будет означать что-то, чего она не хотела признавать.

— До следующего раза, — сказала она.

— До следующего раза, — повторила Маргарета.

Лизи повернулась и пошла к вагону. Поднялась по ступенькам. Нашла своё место у окна — оно выходило на перрон, она проверила это заранее, ещё когда брала билет. Опустилась на сиденье. Открыла окно.

Маргарета стояла там, где она её оставила. Прямая, с перчатками в руке, которые так и не надела. Смотрела на окно.

Поезд дрогнул. Тихо, почти незаметно — просто что-то сдвинулось под полом, и перрон начал медленно двигаться назад.

Лизи не отрывала взгляда от Маргареты.

Маргарета подняла руку. Не помахала — просто подняла, раскрытую ладонью наружу. Остановила её в воздухе.

Лизи подняла свою в ответ.

Перрон двигался быстрее. Фигура Маргареты уменьшалась — не исчезала, а именно уменьшалась, становилась меньше в этом огромном вокзальном пространстве, среди пара и толпы, среди чужих спин и чужих шляп. Она всё ещё стояла прямо. Она всё ещё держала руку.

Лизи смотрела до последнего момента.

Потом вокзальный свод кончился, и в окно ударило открытое небо — серо-белое, июльское — и Париж пошёл мимо: крыши, трубы, мокрый булыжник вдоль путей, кошка на подоконнике, чьё-то бельё на верёвке.

Лизи убрала руку с оконной рамы. Положила ладони на колени.

Закрыла глаза — на несколько секунд, не дольше.

Внутри было тихо. Не пусто — именно тихо. Так бывает, когда что-то большое занимает всё место и при этом не давит, а держит.

Она открыла глаза. Посмотрела на своё отражение в стекле — размытое, в движении, почти неузнаваемое.

Нет. Узнаваемое.

Просто другое.

Глава 17. Возвращение в туман

Париж — Ла-Манш — Лондон, 30 июля 1914 года

Поезд качнулся и пошёл.

Лизи сидела у окна и смотрела, как перрон Гар дю Нор медленно уплывает назад — носильщики, тележки, стеклянный свод с полосами дневного света. Потом крыши. Потом — поля, которые начались сразу и резко, как будто Париж кончился одним шагом.

Она не доставала книгу. Просто смотрела.

Поля были зелёные и спокойные, с одинокими фермами у горизонта, с телегами на просёлках. Ничего в них не говорило о том, что творилось в газетах. Лизи думала об этом несоответствии — и о том, что несколько недель назад это несоответствие её бы тревожило, а сейчас просто было. Просто факт.

Она была другой. Она это знала — не как открытие, а как нечто, что уже успело улечься и стать привычным.

На станции Амьен поезд встал на двадцать минут. Лизи вышла на перрон, постояла, подышала, и увидела телеграфный узел за скамейкой у выхода. Помедлила. Потом вошла.

Бланк лежал на стойке. Она взяла карандаш и написала быстро, не перечитывая:

*Генри Бэнкс. Лондон. Клеркенвелл-роуд, дом 17. Прибываю Виктория завтра утром.
Поезд восемь пятнадцать. Встреть меня. Лизи.*

Отдала бланк. Вышла на перрон.

Раньше она бы написала иначе. Длиннее, осторожнее — с «если тебе удобно» и «не хочу затруднять». Теперь написала как есть. Маргарета, наверное, сказала бы, что это и называется — знать, чего хочешь.

Паром из Кале вышел во второй половине дня. Ла-Манш встретил мелкой волной и тем особым серым светом, который Лизи уже начинала считать британским — плоским, рассеянным, без теней. Она стояла у поручня на палубе и смотрела, как французский берег уменьшается за кормой.

Рядом переговаривались двое мужчин — оба в деловых костюмах, оба с газетами, которые трепал ветер.

— Германия объявила мобилизацию вчера, — говорил один, придерживая шляпу. — Если русские не остановятся, Австрия потянет за собой всю цепочку.

— Пустое, — отвечал другой, но без уверенности. — Каждое лето одно и то же. Переговарятся.

Лизи слушала, не поворачивая головы. Она знала, что это не пустое. Она слышала другие разговоры — в других комнатах, с другими людьми, которые говорили тише и точнее. Но стоять здесь, у поручня, и чувствовать под ногами палубу, а впереди — белёсую полосу британского берега, было странно успокаивающим. Как будто между тем, что она знала, и тем, что она чувствовала прямо сейчас, был один этот пролив. Пока он был — можно дышать.

Она думала о Генри.

Маргарета сказала: *рядом с ним ты можешь дышать*. Это было точное слово — именно дышать, а не что-то другое. Не восхищаться, не тянуться вверх, не держать осанку. Просто быть — и этого было достаточно.

Лизи смотрела на воду и думала: он стоит сейчас в булочной, или идёт куда-то по Клеркенвелл, или сидит над газетой и хмурится. Он не знает ничего из того, что знает она. И всё равно ждёт.

Это было неожиданно важным.

Лондон, вокзал Виктория, утро 31 июля 1914 года

Виктория встретила её шумом и паром.

Лизи спустилась с подножки вагона, поставила чемодан на перрон и остановилась на секунду — просто чтобы привыкнуть к этому воздуху, к этому шуму, к этому конкретному оттенку серого над стеклянной крышей. Лондон. Она не знала, что будет скучать по нему в Париже, но теперь что-то в груди тихо и ровно отпустило.

Она увидела его раньше, чем он её.

Генри стоял у колонны — чуть в стороне от толпы, вытянувшись на носки, и смотрел поверх голов. На нём был твидовый пиджак — тот самый, с чуть вытертым правым локтем, который она знала давно. Он вертел в руках кепку. Снова и снова — одно и то же движение, по кругу, не замечая этого.

Лизи пошла к нему.

Он увидел её — и замер. Кепка остановилась. Он смотрел на неё с таким выражением, которое она не сразу смогла прочитать — не радость ещё, а что-то, что бывает раньше радости. Как будто он не был уверен, что это она, хотя смотрел прямо.

Потом она поняла: он не был уверен, потому что она была другой.

Она шла к нему — прямо, не торопясь, не отводя взгляда. И когда между ними оставалось два шага, она поставила чемодан на перрон, взяла его лицо в обе ладони — он успел только чуть приоткрыть рот — и поцеловала его.

Прямо там. На перроне. Среди носильщиков и встречающих и паровозного пара.

Генри не отреагировал сразу. Секунду — может быть, две — он просто стоял, не веря, и Лизи чувствовала под ладонями, как у него напряглись скулы. Потом что-то в нём сдвинулось. Его руки поднялись и обхватили её — не аккуратно, как он обычно делал, с этой своей всегдашней осторожностью, — а крепко, по-настоящему, прижимая к себе.

Они отстранились. Он смотрел на неё. Его уши были красными.

— Лизи... — начал он. И не закончил.

— Я знаю, — сказала она.

— Нет, я просто... — Он коротко рассмеялся — не светски, а как смеются когда не ожидали и не успели подготовиться. Потрогал собственный подбородок. — Ты телеграфировала *встреть меня*.

— Да.

— Ты никогда так не писала.

— Нет, — согласилась она. — Не писала.

Он смотрел на неё ещё секунду — серьёзно, не убирая улыбки, — и что-то в его лице переменялось. Не всё сразу. Сначала плечи опустились — чуть-чуть, почти незаметно. Потом выдохнул. Долго, как выдыхают после того, как долго держали воздух и не замечали этого.

Он наклонился и поднял её чемодан.

— Пойдём, — сказал он. Голос у него был другой — не взволнованный, а очень спокойный. Тем спокойствием, которое бывает, когда что-то долго висело в воздухе и наконец встало на место.

Они шли по улице, и Генри говорил — о булочной, о новой поставке ржаной муки из Кента, о том, что миссис Пратт с третьего этажа завела кота и кот уже успел опрокинуть две вазы в подъезде. Обычные вещи. Лизи слушала и чувствовала, как этот ритм — негромкий, домашний — обволакивает её, и это было хорошо. Не потому что она хотела забыть о том, что знала. А потому что здесь, рядом с ним, можно было знать всё это — и всё равно идти по улице, держа его за руку, и слушать про кота.

Его рука была тёплой. Он держал крепко — не требовательно, а просто, как держат что-то, что, наконец, вернулось.

— А ещё, — сказал он, нахмурившись немного, когда они свернули на Клеркенвелл, — в газетах пишут о русской мобилизации. Отец говорит — обычная шумиха. Но народ в лавке только об этом и говорит последние дни.

Лизи кивнула. Не сразу ответила.

— Возможно, не только шумиха, — сказала она осторожно.

Генри посмотрел на неё сбоку.

— Ты что-то знаешь?

— Немного. По работе. — Она чуть пожала плечом. — В архивном отделе много документов проходит через руки. Слышишь разное.

Это была не ложь и не правда — что-то посередине, в той зоне, к которой она уже начала привыкать. Генри помолчал, принял это и не стал тянуть дальше.

— Значит, надо запасти муки впрок, — сказал он серьёзно. Потом усмехнулся. — Отец обрадуется. Он давно ищет повод расширить склад.

Лизи рассмеялась — неожиданно для себя, коротко и по-настоящему.

Булочная встретила её запахом, который она не умела бы описать отдельными составляющими — это было просто *запах «Золотого Хлеба»*, целиком, с первого вдоха. Колокольчик над дверью звякнул. Из-за прилавка уже выходила миссис Бэнкс — с вытертыми о передник руками, с тем выражением на лице, которое бывает только когда рады по-настоящему, без подготовки.

— Лизи! — Она обняла её раньше, чем Лизи успела поставить сумку. Крепко, по-хозяйски. — Ну слава богу. Мы уже начали беспокоиться — такие времена, и ты там одна.

— Всё хорошо, — сказала Лизи в её плечо. — Всё прошло хорошо.

— Худющая стала, — немедленно констатировала миссис Бэнкс, отстранившись и оглядев её. — Эти французы совсем не кормят? Садись, я сейчас.

Из подсобки показался мистер Бэнкс — в фартуке, с мучными пятнами на предплечьях. Пожал ей руку — обстоятельно, двумя руками, как пожимают руку человеку, которому рады, но не умеют говорить об этом.

— Ну как там, в Париже? — спросил он. — По делу всё получилось?

— Да, — сказала Лизи. — Архивные материалы разобрали, что нужно — передала по назначению. Командировка вышла дольше, чем планировалось, но результат есть.

— Стало быть, не зря ездила, — кивнул он с удовлетворением человека, который понимает толк в том, чтобы дело было сделано. — Это главное.

Он вернулся за прилавок. Миссис Бэнкс поставила перед Лизи тарелку с хлебом и маслом и начала спрашивать про Париж — не про работу, а про другое: большие ли магазины, правда ли что там едят улиток, и можно ли ходить по улицам одной женщине без сопровождения. Лизи отвечала, и это было легко — потому что про улицы и магазины можно было говорить правду.

Генри сидел рядом. Не вмешивался в разговор, только иногда подливал чай. Но Лизи чувствовала его взгляд — не тревожный, не вопросительный. Другой. Он смотрел на неё так, как смотрят на человека, которого только что увидели заново и ещё не привыкли.

Однажды их взгляды встретились. Он не отвёл глаза. Она — тоже.

Миссис Бэнкс что-то говорила про улиток. Лизи кивала.

Под столом его рука накрыла её ладонь — осторожно, как будто он ещё не был уверен, что это можно. Лизи перевернула руку и сжала его пальцы.

Он больше не смотрел на неё — уставился в стол, и уши у него снова порозовели. Но пальцы не разжал.

За окном по Клеркенвелл шли люди, и кто-то нёс газету, и на первой полосе было что-то крупным шрифтом — Лизи видела, но не читала. Пусть. Потом. Сейчас был запах хлеба, и голос миссис Бэнкс, и тёплая рука Генри в её руке.

Этого было достаточно. Пока — достаточно.

Глава 18. Улей в движении

Лондон, 31 июля 1914 года. После полудня

Часы на каминной полке у Бэнксов пробили два.

Лизи услышала их и почувствовала, как что-то внутри сжалось — не от усталости, а от того особого напряжения, которое накапливается, когда знаешь, что нужно идти, но не хочешь этого признавать. Миссис Бэнкс как раз рассказывала что-то про соседскую кошку, мистер Бэнкс слушал с видом человека, которому эта история знакома наизусть, но всё равно приятна. Генри сидел напротив Лизи и не говорил ничего — только иногда поглядывал на неё так, будто сверял что-то внутри себя.

— Мне нужно домой, — сказала Лизи. — Привести вещи в порядок с дороги.

Миссис Бэнкс немедленно захотела собрать ей что-нибудь с собой. Мистер Бэнкс пожал ей руку — обстоятельно, двумя руками, как в первый раз. Генри уже стоял у двери с её чемоданом.

На улице было солнечно, но воздух давил — тем особым давлением, которое бывает перед грозой, когда небо ещё чистое, а земля уже знает. Они шли по Клеркенвелл, и Лизи слышала, как изменился ритм улицы. Люди двигались быстрее обычного. У газетного киоска на углу стояла очередь — не утренняя, не за новостями, а та, которая собирается, когда новости перестают быть просто новостями. Кто-то читал прямо там, не отходя, загораживая проход.

Генри это тоже видел. Но ничего не сказал.

Лизи смотрела на его руку с чемоданом и думала о том, что три недели назад она бы не замечала таких вещей. Как он несёт. Как держит — чуть отставив руку, аккуратно, будто внутри что-то хрупкое.

Корн-стрит встретила их тишиной. Голуби на карнизе, молочная телега в конце переулка. Синяя дверь с облупившейся нижней панелью.

Генри поставил чемодан у ступеней. Выпрямился. Убрал руки в карманы — и Лизи узнала это движение: так он делал, когда хотел сказать что-то и давал себе секунду решить, стоит ли.

Он смотрел на дверь. Потом на неё.

— Я мог бы... — начал он и остановился.

Лизи видела это: надежду, которую он старался не показывать слишком явно. Он ждал — не требуя, не намекая прямо, — просто стоял и ждал, не зная, что у неё внутри уже всё сжалось от другого. Отец. Ни одного сообщения. Русская мобилизация, которую мистер Бэнкс называл шумихой, но которая шумихой не была. Сэр Блэк, который ждёт.

Она смотрела на него — на его чуть покрасневшие уши, на руки в карманах — и чувствовала, как эти два мира тянут её в разные стороны. Один — тёплый, с хлебом и чаем и его кривоватой улыбкой. Другой — тот, куда она должна была идти прямо сейчас.

— Мне нужно в архив, — сказала она. — Они ждут отчёта по командировке. Сразу, сегодня. — Она посмотрела на него прямо. — Если бы не это.

Генри помолчал. Кивнул — коротко, принял.

Но потом поднял чемодан и поставил его на первую ступень — чтобы ей не пришлось тащить самой. Маленькая вещь. Совсем маленькая.

— Генри.

Он обернулся.

— Сегодня вечером, — сказала она. — Приходи. Я не умею готовить лучше твоей матери, но попробую.

Что-то в его лице переменялось — медленно, как меняется свет, когда облако уходит в сторону. Плечи опустились. Он выдохнул — долго, будто держал воздух и не замечал этого.

— Принесу хлеб, — сказал он.

— Принеси.

Она вошла. Закрыла дверь.

В прихожей было темно и пахло нежилым. Лизи прислонилась к двери спиной и просто-ляла так несколько секунд — просто слушала тишину своей квартиры.

Потом подняла чемодан и пошла наверх.

Кровать застелена так, как она оставила. На подоконнике стакан с белым осадком — вода испарилась за три недели. На столе книга, раскрытая на сто двенадцатой странице. Лизи не помнила, о чём была та страница.

Она поставила чайник на огонь. Пока он грелся, достала из шкафчика жестяной таз, поставила на пол. Налила холодной воды из кувшина, потом горячей — проверила запястьем. Взяла мыло — кусок серого хозяйственного, стёртый почти до пластинки.

Разделась быстро. смыла с себя поезд и паром и трое суток дороги — жёстко, без церемоний. Вода потемнела быстро.

Вытерлась. Надела чистое. Рабочее платье — тёмно-серое, с глухим воротником — легло на плечи как нечто знакомое и обязательное. Она застегнула пуговицы снизу вверх, не глядя. Собрала волосы. Проверила в зеркале — не себя, а результат.

Взяла папку с парижскими записями, затянутую тесьмой. Положила в сумку.

Посмотрела на комнату. Чемодан раскрытый, книга на той же странице, стакан с осадком. Всё подождёт.

Вышла.

На улице Лондон был другим, чем утром.

Утром она смотрела на него глазами человека, который вернулся домой. Сейчас — глазами человека, который идёт на работу. И разница была ощутимой.

На Клеркенвелл очередь у киоска стала длиннее. Лизи не останавливалась, но успела прочитать заголовок: *АВСТРИЯ ПРЕДЪЯВИЛА УЛЬТИМАТУМ. БЕЛГРАД МОЛЧИТ*. Двое полицейских у телефонной будки на Фарингдон-роуд стояли без видимой причины — просто стояли, с тем видом людей, получивших инструкции ждать.

Три недели. За три недели что-то сдвинулось — не одним движением, а так, как сдвигается почва, когда этого не замечаешь.

Она подняла руку, останавливая кэб.

В экипаже закрыла глаза на несколько секунд. Отец. Ни одного сообщения за всё время, пока она была в Париже. Это могло означать разное. Она выбирала думать о том, что связь просто оборвалась — такое бывает. Но выбирать становилось всё труднее.

Кэб остановился у знакомого здания.

Она расплатилась, вышла и на секунду замерла перед входом.

Снаружи — как всегда. Внутри — совсем нет.

Коридоры министерства, которые она знала до каждой панели, теперь напоминали оживлённую улицу в час пик. Курьеры взбегали и сбегали по лестницам. Запах горячего сургуча и свежей типографской краски стоял в воздухе. Телеграфные аппараты трещали не умолкая. Где-то в глубине зала кто-то выкрикивал команды, кто-то ему отвечал, перекрикивая, в дверях сталкивались люди из разных отделов и расходились, не извинившись.

Лизи шла сквозь этот поток, не замедляясь.

У кабинета сэра Блэка дверь была приоткрыта. Она постучала.

— Что значит «нет ответа из Бухареста»?! — Его голос, обычно ровный и холодный, сейчас был отрывистым. — Я жду сводку! Да, слышу. Повтори по буквам!

Лизи заглянула. Сэр Блэк стоял у стола с трубкой, зажатой между плечом и ухом, галстук сбился набок, стол был завален телеграфными лентами и картами. Он обернулся на звук —

увидел её — и на секунду в его лице мелькнуло что-то, чего она раньше не видела. Не облегчение — нечто более сдержанное. Узнавание.

— Ватсон. — Он прикрыл трубку рукой. — Немедленно в свой сектор. Там разброд. Потом зайдёте.

Она кивнула и пошла дальше.

В дверях своего отдела Лизи остановилась.

Она ожидала беспорядка. Но не такого. Столы были завалены бумагами в несколько слоёв — газеты, конверты, папки, телеграммы. Чьи-то попытки навести порядок читались по полустёртым ярлычкам на стопках, но попытки явно давно прекратились.

Мистер Финч стоял посреди комнаты с измятой газетой в руках — перечитывал уже явно не в первый раз. Увидел Лизи и выдохнул так, будто до этого не дышал.

— Вот ты где. Мы уж думали, совсем сбежала к французам. — Он махнул рукой в сторону хаоса. — Добро пожаловать обратно.

Мисс Смит, не поднимая взгляда от реестров:

— Привет, Лизи. Ты как нельзя кстати.

За её столом сидела незнакомая девушка — круглолицая, с пышными каштановыми кудрями, которые выбились из причёски. Она перекладывала бумаги с места на место с видом человека, который перестал понимать, что делает, но продолжает делать, потому что остановиться страшнее.

Лизи подошла.

— Добрый день. Вы здесь недавно?

Девушка вздрогнула так, что бумаги съехали на пол.

— Ох! Да! Здравствуйте! Меня прислали — временно — я замещаю... вас, кажется... — Она смотрела на Лизи с откровенным ужасом.

— Мисс Ватсон, — сказала Лизи ровно.

— О господи! — Девушка едва не вскочила. — Я Брукс. Этель Брукс. Простите, мисс Ватсон, тут такой — я пыталась — но эти конверты, и эти... — она покосилась на стопку зашифрованных сообщений с таким выражением, будто те были живыми, — я не понимаю, что с ними делать!

Финч хмыкнул из-за своего стола:

— Здесь у нас не булочки печь, Брукс.

— Всё хорошо, Этель, — сказала Лизи. — Пересаживайтесь к дополнительному столу. Разберёмся.

Этель с облегчением, почти со слезами, собрала свои бумаги и освободила место. Лизи опустила на стул — и сразу почувствовала что-то странное: это было её место, её стол, её угол комнаты — но за месяц здесь успело стать по-другому, как бывает в комнате, где пожил кто-то чужой.

Она начала разбирать. Пальцы привычно скользили по стопкам — конверты, шифровки, сводки, газеты на языках, которых Этель Брукс явно не читала.

— Мистер Финч, что там с Германией?

— Ультиматум Франции, — ответил он, не оборачиваясь. — Требуют нейтралитета. Париж, говорят, сходит с ума.

Лизи сжала губы. Это объясняло многое.

Пальцы остановились.

Среди бумаг — конверт без марки, без обратного адреса, с единственным обозначением в углу: *D.R.-15*. Она взяла его аккуратно — так берут вещи, которые не хочется тревожить раньше времени. Внутри один лист. Незнакомый шифр — линии и знаки, которых она раньше не видела. Не стандартный министерский код. Что-то другое.

Пальцы на секунду замерли над листом.

Она сложила его обратно. Убрала в отдельную папку, придавила сверху стопкой газет.
— Этель, — сказала она тихо. — Вы видели ещё такие конверты? С похожими обозначениями?

Этель Брукс посмотрела на стопку в углу.

— Я складывала туда всё, чего не понимала. Мне так велели.

— Хорошо. — Лизи кивнула. — Правильно сделали.

Солнце за окном давно ушло — Лизи не заметила когда. В отделе движение стало медленнее, гуще: та фаза усталости, когда работают уже не скоростью, а упорством.

Финч первым поднял голову.

— Ватсон. — Он потянулся до хруста в спине. — Кажется, сегодняшний ад окончен. Голова уже ничего не понимает.

Мисс Смит закрыла грессбук, потёрла глаза.

— Скорее бы завтра. И не дай бог такого же.

— Оставьте всё в порядке, — сказала Лизи. — Завтра с утра снова много.

Они вышли. Этель Брукс попрощалась так горячо, будто они вместе пережили нечто важное — и, пожалуй, так и было.

Лизи осталась одна. Посмотрела на папку с *D.R.-15*.

Вошёл дежурный офицер.

— Мисс Ватсон. Все сотрудники должны покинуть помещения. Двери будут опечатаны.

Она кивнула. Встала. Сумку застегнула.

У главного входа теперь стоял пост — внушительный, которого раньше здесь не было. Рослые гвардейцы проверяли всех выходящих. Лизи это заметила и приняла как факт.

У дверей она столкнулась с сэром Блэком. Он выглядел измождённым, но держался прямо — той прямоотой, которая уже не осанка, а просто привычка тела.

— Ватсон. Не думал, что вы так задержитесь.

— Было много работы, сэр.

— И не говорите. — Он чуть помолчал. — Пока вы были в командировке, события развивались стремительно. Австрия — Сербия, Россия начала мобилизацию, Германия балансирует. Завтра утром будут новые инструкции по всем направлениям. — Он посмотрел на неё. — Как прошла командировка? Архивные материалы?

— Всё передано по назначению, сэр. Отчёт готов к утру.

— Хорошо. — Он кивнул. — Идите домой, Ватсон. Отдохните. Завтра рано.

Она вышла.

Лондон был непривычно тих — не той тишиной, которая бывает поздно ночью, когда город просто спит, а другой: той, что бывает, когда люди разошлись по домам и думают. Лизи шла пешком. Ноги гудели. Голова была пустой — не в хорошем смысле, а в том, когда всё, что можно было обдумать, уже обдумано, и мозг просто отказывается продолжать.

Она подняла голову.

Серп луны над крышами — бледный, почти прозрачный.

Отец.

Где он сейчас — она не знала. Последнее сообщение пришло ещё до её отъезда в Париж. С тех пор — ничего. Это могло означать разное. Связь. Переезд. Или что-то, о чём она не позволяла себе думать прямо.

Она не стала думать об этом прямо.

Повернула на Корн-стрит. Синяя дверь. Три ступени.

Зашла. Зажгла лампу на столе. Увидела раскрытую книгу на странице сто двенадцать — и наконец вспомнила, о чём она была.

Ни о чём важном.

Она закрыла книгу и поставила чайник.

Генри придёт вечером. Он принесёт хлеб.
Этого пока было достаточно.

Глава 19. Карл Бреннер

Лемберг, 24 июля 1914 года

Он не спал.

Лежал на спине, глядя в потолок, где лунный свет через щель в ставнях выхватывал одну и ту же трещину в штукатурке — длинную, с ответвлением вправо, похожую на реку на военной карте. Он изучил её в первую ночь. Теперь она была просто частью тишины.

Карл Бреннер. Так его знали здесь, в Лемберге. Так было записано в регистрационных книгах трёх постоянных дворов — в Вене, Будапеште и здесь. Швейцарский коммерсант из Базеля, торговец тканями с тяжёлым чемоданом образцов и доброжелательной, ни к чему не обязывающей улыбкой. Легенда была безупречной — на это ушло шесть недель работы людей, которых он никогда не видел в лицо.

Настоящее имя он не произносил даже мысленно. Это было правило, которое он выработал давно: чем реже называешь себя собой, тем проще оставаться кем-то другим.

Но сейчас, в три часа ночи, в этой комнате с облупившимися стенами — он думал о Павле.

Они работали вместе три месяца.

Поначалу Бреннер не доверял ему. Слишком тихий, слишком незаметный — именно такие люди иногда оказывались двойными. Но Павел никогда не задавал лишних вопросов, никогда не опаздывал, никогда не менял привычек без предупреждения. Это говорило больше, чем любые рекомендательные письма.

Со временем между ними выработался свой язык — без слов. Встречались на рынке, у одной и той же бочки с огурцами, которую держал старый Мирослав. Обменивались монетами и бумагами так, что Мирослав, проработавший на этом месте двадцать лет, ни разу не почувал ничего лишнего.

Однажды, в мае, когда Бреннер уходил по запасному маршруту и едва не попал под случайную проверку жандармов, именно Павел отвлёк их на себя — встал между ними и Бреннером, заговорил громко, показывая какие-то бумаги, и не сдвинулся, пока Бреннер не скрылся за углом. Они никогда не говорили об этом потом. Это не требовало слов.

Потом пришёл этот день.

В день встречи на центральном рынке он почувал неладное ещё на подходе.

Не увидел — почувал. Угол, где обычно сидел чистильщик обуви — пустой. Телеги с сеном перекрывали боковой проход, которого вчера не было. У хлебного лотка двое мужчин не смотрели на хлеб.

Он пересчитал их, не замедляя шага. Четверо в штатском. Взгляды скользили по площади и возвращались в один сектор. Профессионалы. Evidenzbureau.

Сердце сделало один тяжёлый удар. Потом он отпустил его — успокоил усилием воли, как учили.

Павел стоял у бочки с огурцами. По плечам — чуть выше обычного, по неподвижному лицу — он тоже всё понял. Их взгляды встретились на долю секунды. Никакого страха.

Бреннер продолжил движение. Подошёл. Достал кошелёк.

— Отличные огурцы сегодня, — сказал Павел торговке. В голосе — едва уловимая металлическая нотка. Импровизация. Сигнал.

— Возьму пару штук, — ответил Бреннер, вставая так, чтобы закрыть Павла от одного из наблюдателей.

Их руки встретились над бочкой. Монеты перешли в одну сторону, сложенный лист — в другую. Это заняло меньше секунды.

— Нас раскрыли, — выдохнул Павел, едва шевеля губами. — Уходи.

Мужчина у хлебного лотка кивнул кому-то за спиной Бреннера.

— Взять, — раздался короткий гортанный голос.

Площадь переломилась в один миг.

Агенты двинулись — резко, без лишних движений. Торговка с кружевами бросила товар и развернулась к Павлу. Мужчина в пальто уже обходил Бреннера справа. Полицейские, до этого лениво стоявшие по углам, начали смыкаться, отрезая выходы.

Павел опрокинул бочку.

Она покатилась с грохотом, рассыпая рассол и огурцы под ноги. Люди шарахнулись — кто в сторону, кто вперёд, не понимая, откуда звук. Торговец рыбой закричал что-то по-польски. Лошадь у дальнего ряда дёрнулась и опрокинула тележку с капустой. Кочаны покатались под ноги, кто-то упал, кто-то закричал. Ближайшие покупатели побежали — не зная куда, просто прочь от звука и от страха — и это движение потянуло за собой других, как тянет за собой вода. Площадь превратилась в живой беспорядок за несколько секунд.

Павел попытался прорваться в сторону мясных рядов.

Бреннер увидел это краем глаза. Увидел, как агент поднял руку. Увидел, как Павел шагнул навстречу ему — не уходя, а именно навстречу, закрывая собой то пространство, которое отделяло агента от Бреннера.

Выстрел прозвучал сухо и коротко — почти неслышимый в общем крике. Женщина рядом с Бреннером взвизгнула и осела, прикрывая голову. Мужчина с корзиной бросил её и побежал, сбив с ног мальчишку-разносчика. Мальчишка заорал.

Бреннер не обернулся.

Он не позволил себе обернуться.

Агент справа вцепился ему в плечо — твёрдо, без лишних слов. Бреннер ударил его чемоданом в колено. Хватка ослабла на секунду — этого хватило. Он толкнул тележку с яблоками во второго, нырнул в людской поток и пошёл — не побежал, пошёл, быстро, плечом вперёд, расталкивая людей, которые и сами не понимали, в какую сторону двигаться.

В мясных рядах он скользнул на рассыпавшихся потрохах, схватился за край прилавка, устоял. Протиснулся между свинными тушами на крюках — они качнулись и заскрипели. Нырнул в переулок.

Сзади — свистки. Впереди — двор, тупик, и в стене старого дома низкое подвальное окно с гнилой рамой.

Он выбил раму ногой и прыгнул в темноту.

Сапоги топали над головой ещё минут десять. Потом голоса стали удаляться. Они ждали у выходов — это правильно со стороны, это и он бы сделал так же.

Он поднялся по ступеням, выбил плечом хлипкую дверь в конце подвального коридора и оказался в пустом коридоре доходного дома. Поднялся на второй этаж. Вышел на заднюю лестницу. Во дворе — куча тряпья у стены, бельевая верёвка с чужим.

Он снял пальто коммерсанта. Стянул с верёвки выцветшую рабочую кепку — натянул низко. Вытащил рубашку из брюк. Ссутулился. И пошёл к выходу со двора шаркающей, усталой походкой человека, у которого закончилась смена и болит спина.

Теперь он лежал и смотрел в трещину на потолке.

Документы лежали во внутреннем кармане пиджака на стуле. Гриф в верхнем углу он прочитал при свете спички: *Nur für den Generalstab*. Только для Генерального штаба. Сами столбцы цифр — шифр «Tарir», который австрийцы ввели год назад — были ему недоступны. Без ключей, хранившихся в Вене и Берлине, это был красивый, смертельно опасный мусор.

Павел был единственным каналом на Лондон. Теперь Павла не было.

Он перебирал варианты так же, как перебирал их уже несколько часов. Телеграф — перехватят. Новый курьер — сети больше нет. Идти на запад самому — он уже в ориентировках, и документы в подкладке слишком важны для такого риска.

Оставался восток. В Лемберге была старая явка — «Точка R», законсервированная квартира, о которой знали трое человек в Лондоне. Запасной путь, который никогда не использовали. Это давало шанс.

Через старый канал торговцев он успел уйти короткое сообщение в Центр. Рискованно — но ушло. Документы высшей важности. Шифр «Tarig». Уходит на восток. Нужен дешифровщик в «Точке R».

Но потом пришла другая мысль.

Что если канал тоже под наблюдением? Что если вместо своих к нему придут чужие — с той же вежливой улыбкой, с какой встречают людей, которых незачем допрашивать?

Нельзя рисковать документами. Не этими.

Нужна верификация. Живой пароль — тот, которого Evidenzbureau не знает и не может знать. Он долго лежал, глядя в трещину, пока ответ не пришёл сам. Простой. Единственный.

Он встал. Взял бумагу. Написал коротко, добавив в конце сообщения одну строку: «Для верификации контакта — прислать Елизавету Ватсон. Без неё передачи не будет».

Он сложил бумагу и сел на край кровати. Долго смотрел на свои руки. Руки разведчика — это не руки хирурга и не руки пианиста. Они умеют держать, передавать, прятать. Они умеют не дрожать, когда нужно не дрожать. Сейчас они лежали на коленях и не делали ничего. Просто лежали.

Он написал её имя. Он написал его своим почерком, своими руками, и теперь эта бумага уйдёт в Лондон — и там кто-то прочтёт его приказ и начнёт готовить его дочь к путешествию через континент, который уже горел по краям.

Он мог написать иначе. Он мог написать: *прислать опытного офицера с личным кодом Ватсона*. Это было бы профессионально. Это было бы правильно. Он сам бы так и сделал, если бы речь шла о ком-то другом.

Но он написал её имя. И знал, почему.

Потому что она придёт. Это не вопрос. Она придёт без колебаний, потому что именно так она устроена — он сам её такой вырастил, он сам показал ей, что долг стоит выше страха, что работа важнее, чем собственное благополучие. Он учил её этому каждым своим выбором. И теперь она применит этот урок к нему самому — и он не сможет ей запретить, потому что его слова будут против его же слов.

Он думал о том, что она сейчас делает. Скорее всего — работает. Сидит над какой-нибудь сводкой, с карандашом в руке, и не спит, потому что ей кажется, что ещё один документ, ещё одна строчка — и что-то сложится в общую картину. Он видел этот её взгляд — внутрь, а не наружу — столько раз, что мог воспроизвести его с закрытыми глазами.

Она не знает, что он здесь. Она не знает, что Павел мёртв. Она не знает, что через несколько дней на её стол ляжет бумага с её собственным именем — приказ, который она, скорее всего, примет раньше, чем дочтёт до конца.

Он встал. Подошёл к окну. Не открыл — просто стоял у ставня.

Была одна мысль, от которой он не мог уйти, как ни пытался её обогнуть. Не страх за задание. Не профессиональный расчёт. Просто — он мог потерять её. Не в абстрактном смысле, не как возможность из разряда «на войне всякое бывает». А по-настоящему. Он мог написать её имя на этой бумаге — и это могло стать последним, что он для неё сделал.

Один человек. Единственный. Всё, что осталось от той жизни, которая была до этой комнаты.

Он стоял у ставня и не двигался довольно долго.

Потом вернулся к кровати. Поднял сложенную бумагу. Посмотрел на неё.

Разорвать — значит остаться здесь с документами, которые никуда не уйдут. Значит — Павел умер зря. Значит — всё, что он строил полгода, осыпается в пыль, и «Tarig» останется у австрийцев, и никто в Лондоне не узнает, что именно они планируют и когда.

Он не разорвал.

Он просто положил бумагу в карман — туда, где лежал медальон.

Отец и офицер. Два человека в одном теле. Один из них только что проиграл.

Потом достал из кармана пиджака медальон — плоский, серебряный, размером с монету. На обратной стороне гравировка детским почерком, кривые буквы: *Папе. От Лизи.* Он поднёс его к лунному свету из щели в ставне — не чтобы прочесть, он помнил наизусть — просто так.

Луна стояла высоко над Лембергом. Он смотрел на неё через щель и думал: эта же луна сейчас светит над Лондоном. Над Гранвилл-Гарденс, над крышами, которые он знал наизусть. Может быть, Лизи тоже не спит. Может быть, тоже смотрит на неё — из своей комнаты, или с Темзенского моста, где они иногда ходили вместе, когда она была ещё маленькой.

Это, конечно, невозможно проверить. Но он позволил себе думать так — одну минуту, не больше.

Потом сжал медальон в кулаке.

Он знал, что делает с ней. Знал это совершенно ясно. Граница ещё была открыта — через неделю могла не быть. Он обрекал её на опасное путешествие через континент, который уже начинал менять очертания. Но документы в его подкладке могли изменить то, что случится с тысячами людей. И единственный человек, который мог стать живым ключом — была она.

Не потому что он так решил. Потому что так вышло.

Он положил медальон обратно. Лёг. Закрыл глаза.

Трещина в потолке оставалась на месте. Она никуда не денется до утра.

Глава 20. Лондон: Рождение миссии

Лондон, 23 июля 1914 года

Духота в аналитическом отделе стояла с самого утра.

Вентиляторы под потолком гоняли один и тот же тёплый воздух — от стены к стене, снова и снова. Телеграфный аппарат в углу не умолкал. Лизи давно перестала его слышать — он стал частью тишины, как тиканье часов в комнате, где живёшь давно.

Она сидела за своим столом, заваленным картами Балкан и стопками донесений. Карандаш в руке двигался точно и коротко — пометка, стрелка, вопросительный знак на полях. Слева — сводка из Белграда, справа — перехваченная депеша из Вены. Ультиматум. Сорок восемь пунктов, каждый из которых был рассчитан на отказ.

Она это видела сразу. Австрия не ждала ответа. Австрия ждала повода.

Но думала она сейчас не об ультиматуме.

Шифровки от отца приходили. Регулярно, в общем потоке, замаскированные под обычные донесения. Она узнавала их по почерку — по тем едва заметным особенностям в построении блоков, которые он выработал сам и которым научил только её. Он был жив, он работал, он что-то передавал. Но что именно — она не могла понять. Шифр был другим. Незнакомым. Не тем, которому он её учил. И это незнание давило сильнее, чем если бы сообщений не было вовсе.

— Мисс Ватсон.

Она подняла голову. Мистер Дэвис — её непосредственный начальник в аналитическом отделе, пожилой, с усталыми глазами и привычкой никогда не говорить больше необходимого — стоял у её стола. В руке он держал простой конверт без печатей.

— Зайдите ко мне.

В его маленьком кабинете было так же душно. Он не сел. Подошёл к окну, глядя на улицу, и протянул ей конверт.

— Вас ожидают. Немедленно. По линии другого ведомства.

Внутри конверта был листок с адресом: 2 Whitehall Court.

— Возьмите кэб, мисс Ватсон. Расходы будут возмещены.

Он не задавал вопросов. Это был приказ, замаскированный под вежливую просьбу. Лизи молча кивнула. Другое ведомство. Не МИД. SIS.

Зачем — она не знала.

2 Whitehall Court оказался не правительственным зданием. Белый фасад, безупречно чистые окна, маленькая латунная табличка у входа. Никакой вывески. В холле пахло воском для паркета и дорогими сигарами. Не контора. Джентльменский клуб — или что-то, что очень старалось им казаться. Такие места не показывают на карте.

Её провели в небольшую приёмную с тяжёлой кожаной мебелью.

За столом у окна сидел молодой человек с шахматной доской.

Лизи его знала — вернее, видела. Несколько раз через окошко двери шифровального отдела, когда сдавала перехваченные депеша. Он принимал их неподнимая глаз — тихий, сутулый, в очках с толстыми линзами. В министерстве о нём ходили легенды: кембриджский математик, которого взяли прямо с третьего курса, потому что он в уме разобрал немецкий военноморской код, над которым отдел бился два месяца. Говорили, что не разговаривает с коллегами. Что обедает в одиночестве и читает за едой.

Сейчас он был полностью поглощён шахматной задачей и не поднял головы, когда она вошла.

— Мисс Ватсон.

Голос принадлежал полковнику Грею — невысокому, с прямой спиной и выражением лица человека, привыкшего к тому, что его не переспрашивают.

— Прошу.

В кабинете, помимо Грея, в глубоком кресле сидел сэр Мэнсфилд Камминг. Лизи знала его только по инициалу «С» — так он подписывал внутренние распоряжения. Он не смотрел на неё — листал что-то на столе. Но она чувствовала — следит именно за ней, просто другим способом.

В углу, почти в тени, сидел третий — немолодой чиновник в хорошем, но немного мятом костюме. Его Лизи не знала.

— Присаживайтесь, — сказал Грей. — Как обстановка в вашем отделе? Справляетесь с потоком после австрийской ноты?

— Работы достаточно, сэр.

— Читали ваш рапорт по Парижу. — Он перекладывал что-то на столе — бессмысленно, привычно. — Вы проявили инициативу. И выдержку. Особенно для вашего возраста.

Это прозвучало не как комплимент — как наблюдение, которое ещё не получило оценки.

— Ваша работа с мадам Зелле. Расскажите подробнее. Какова была её роль?

Лизи отвечала ровно, взвешивая слова. Мата Хари как источник — да. Её влияние на нужных людей — да. Её помощь в ключевой момент — да. О том, что происходило в тихих вечерних разговорах в особняке на авеню Анри-Мартен, она не сказала ничего. Это была её территория.

— Её мотивы мне неизвестны, сэр. Но её действия были в британских интересах.

— Хорошо. — Грей кивнул. Помолчал. — А ваш молодой человек, мистер Бэнкс. Он понимает характер вашей работы?

Удар был точный — личный, неожиданный. Она почувствовала его, но не показала.

— Моя личная жизнь не влияет на работу, сэр.

Камминг поднял голову от бумаг. Посмотрел на неё — первый раз за весь разговор, прямо.

— Подождите в приёмной, мисс Ватсон. Мы пригласим вас через несколько минут.

В приёмной молодой человек с шахматной доской так и сидел у окна. Лизи опустилась в кресло напротив и несколько секунд наблюдала за ним.

Он передвинул коня. Снял пешку, повертел в пальцах, поставил обратно. Убрал совсем. Снова поставил.

— Задача не решается? — спросила она.

Он поднял голову. За толстыми линзами очков — серые глаза, которые смотрели на неё с лёгким удивлением человека, которому не часто задают вопросы.

— Решается, — сказал он. — Просто я ищу элегантное решение, а не очевидное.

— Есть разница?

— Всегда.

Он снова посмотрел на доску. Пальцы у него были длинные — держал фигурку так, как держат карандаш, привычно, не думая.

— Майлз Кэмпбелл, — сказал он, не поднимая взгляда. — Вы мисс Ватсон. Я видел вас несколько раз. Через окошко.

— Я знаю, — сказала она.

Он кивнул. Передвинул слона. И неожиданно — очень коротко — улыбнулся доске.

— Вот оно, — сказал он тихо.

Лизи смотрела на него. Человек, который разговаривает с шахматными фигурами и не замечает людей рядом. Через несколько минут он, судя по всему, станет частью того, что ей предстоит — чего бы это ни стоило.

Из-за закрытой двери долетали приглушённые голоса.

— ...это безумие, Мэнсфилд. Она ребёнок. Умный — да. Но ребёнок. Они сожрали Флетчера в Вене, а он был одним из лучших...

— ...Флетчер был предсказуем. Он действовал строго по инструкции. А эта девушка действует по интуиции. Иногда это ценнее опыта...

— ...я не хочу брать грех на душу...

Майлз тоже слышал. Он не поднял головы от доски — только чуть сильнее сжал фигурку в пальцах.

Лизи сидела прямо. Флетчер. Значит, уже пробовали. И потеряли человека.

Когда их пригласили обратно, Грей стоял у карты на стене. Не обернулся сразу — дал им секунду постоять посреди комнаты. Камминг сидел в том же кресле.

Они вошли и остановились посреди комнаты. Никто не предложил им сесть — и они не стали искать, куда.

Камминг заговорил первым — без вступлений, без бумаг:

— Несколько недель назад мы начали получать донесения из Галиции. По обычным каналам. Военная разведка, рутинные материалы — на первый взгляд. Но в них есть нечто, что мы не можем прочитать. — Он сделал небольшую паузу. — Шифр «Таріг». Австрийский, нового поколения, введён в генштабе около года назад. Нестандартный. Наши специалисты работали с ним три месяца — без результата.

Он посмотрел на Майлза.

— Мистер Кэмпбелл. Вы работали с перехваченными фрагментами этого кода?

Майлз чуть подался вперёд.

— По запросу морского ведомства. Три месяца назад. — Он говорил осторожно, взвешивая. — Полного ключа у меня нет. Но структуру я понимаю. Если получу достаточно исходного материала — смогу.

— Сколько вам нужно времени?

Майлз наклонил голову — не уклоняясь, а считая.

— День. Может быть, два. Если меньше суток — буду работать без сна.

Грей переглянулся с Каммингом. Камминг продолжил:

— Проблема не только в шифре. Источник этих донесений — наш резидент. Он раскрыт. Уходит на восток. В Лемберге есть законсервированная явка — он будет там. Но он не выйдет на контакт ни с кем из наших людей. — Камминг сделал паузу. — Он поставил условие. Одно. Конкретное.

Лизи почувствовала, как что-то изменилось в воздухе комнаты — необъяснимо, как меняется давление перед грозой.

— Он требует живой верификации, — продолжал Камминг. — Человека, которого противник не может знать и которого нельзя подделать. Он назвал имя. Елизавета Ватсон.

Лизи не пошевелилась.

Мысли пошли быстро, одна за другой — шифровки, которые она не могла прочитать, незнакомый код, Галиция, «Таріг», живой пароль, её имя.

— Это мой отец, — сказала она.

Не вопрос. Констатация.

Камминг не подтвердил сразу. Смотрел на неё — с тем вниманием, которое не требует слов.

— Да, — сказал он наконец.

Майлз рядом с ней перестал дышать — она это почувствовала, хотя не посмотрела на него.

— Он жив? — спросила она.

— Судя по последнему донесению — да. Оно пришло четыре дня назад. — Грей произнёс это без украшений. — Гарантий нет.

Четыре дня. Она приняла это и убрала в ту часть себя, которую держала закрытой на время разговора.

— Мисс Ватсон, — сказал Камминг тише, — прежде чем мы продолжим — я хочу понять кое-что. Вы понимаете, о чём идёт речь?

— Я должна добраться до Лемберга. Подтвердить личность. Обеспечить контакт. — Она говорила ровно. — Я понимаю, что личная заинтересованность — это фактор риска. Вы об этом скажете.

Грей чуть приподнял бровь.

— И?

— И это не меняет моего ответа. Если бы моё суждение зависело от личных обстоятельств — я бы сейчас просила вас о помощи, а не отвечала на ваши вопросы.

Камминг повернулся к Майлзу.

— Мистер Кэмпбелл. Вы понимаете, что это не служебное поручение? Никто не вправе вам приказать. Это добровольно. — Он говорил ровно, без давления. — Вы математик. Не разведчик. Там будет опасно — по-настоящему, не в теории.

Майлз держал шахматную доску обеими руками. Смотрел на неё. Молчал.

Лизи не смотрела на него. Она смотрела прямо перед собой. Но краем глаза видела, как у него чуть изменилось выражение лица — что-то внутри решалось, взвешивалось, искало точку опоры.

— Шифр «Тариг», — сказал Майлз наконец, медленно. — Я три месяца думал о нём. — Он поднял взгляд на Камминга. — Я хочу его взломать. — Короткая пауза. — Это достаточная причина?

Камминг посмотрел на него — без улыбки, но с чем-то, что было близко к уважению.

— Вполне, — сказал он.

Грей встал у карты.

— Однако прежде чем мы перейдём к деталям — есть вопрос о составе группы. Операция требует руководителя. Человека, способного принимать решения на месте. — Он посмотрел на Майлза. — Мы рассматривали вашу кандидатуру, мистер Кэмпбелл.

Майлз чуть напрягся. По тому, как у него сдвинулись плечи, было понятно — новость не из приятных.

— Однако после нашего разговора стало очевидно: ваши сильные стороны иного свойства. Как дешифровальщик вы незаменимы. Как человек, принимающий решения в поле... — Грей остановился — с той особой паузой, которая хуже любого слова. — Не тот профиль.

Майлз медленно выдохнул. Облегчение было написано у него на лице совершенно открыто.

— Что касается вас, мисс Ватсон. — Грей перевёл взгляд. — Вы способны. Париж это подтвердил. Де Валуа работал под носом у французской разведки три года. Вы вскрыли его за две недели. Это факт, который мы принимаем во внимание.

Лизи ждала. «Но» висело в воздухе — она слышала его ещё до того, как Грей открыл рот.

— Но есть обстоятельства, которые нас беспокоят. Первое: личная заинтересованность. Там ваш отец. Это неизбежно влияет на суждение — как бы вы ни старались иначе.

Это было справедливо. Она промолчала.

— И второе. — Грей чуть помедлил. Потом произнёс — не жёстко, а именно мягко, с той особой интонацией, которая хуже жёсткости: — Вы молоды, мисс Ватсон. И всё же — девушка. Мы не сомневаемся в ваших способностях. Но некоторые двери в той среде, куда вам

предстоит войти, для женщины просто закрыты. Это не наше решение — это реальность. И мы не хотим отправлять вас туда, где вы окажетесь... беспомощной. Из лучших побуждений.

Беспомощной. Из лучших побуждений.

Что-то в ней сдвинулось — резко, как рвётся нить, которую слишком долго натягивали. Не от слова «девушка». Не от «закрытых дверей». От этого сочетания — заботливого, окончательного, захлопывающего дверь с улыбкой.

Она встала.

— Полковник. — Голос у неё был ещё ровным — но это уже было не спокойствие, а последняя секунда перед тем, как плотину прорывает. — Глен-Элби. Помните это место? Наивная девочка, которую туда привезли? Потом Константинополь — та, что «растерялась»? — Она шагнула вперёд. — Разве не я помогла отцу в операции с фальшивыми чертежами? Разве не я в Париже вскрыла агента враждебной стороны — Филиппа де Валуа — которого французская разведка не могла найти три года?! Все эти вопросы — про Мату Хари, про Генри, про мой возраст — это была проверка? Кого проверяли?!

Она бросила быстрый взгляд на Майлза — тот стоял с видом человека, обнаружившего, что стоит у края обрыва, и не знающего, когда успел туда забрести.

— Я вижу больше, чем вам кажется! — Лизи повернулась к чиновнику в углу. — Мистер Хендерсон, повернитесь чуть левее.

Тот в недоумении подчинился.

— Вы не являетесь постоянным посетителем этого кабинета. На правом колене ваших брюк — потёртость от лака. Вы каждый раз, проходя к своему креслу, задеваете угол журнального столика. Царапины на паркете это подтверждают. Разве я не права?

Хендерсон открыл рот. Закрыл.

— Мисс Ватсон, — произнёс Грей с интонацией человека, осаживающего того, кто вышел за рамки, — леди не подобает так себя вести! Не забываетесь — вы девушка!

И тут плотину прорвало.

— **МЫ, ЖЕНЩИНЫ, РОЖАЕМ ВАС!** — Голос у неё вырвался громко, без сдержанности, без расчёта — так, как вырывается то, что слишком долго держали внутри. — **ВСЕХ ВАС! И ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫ ОБЪЯСНЯЕТЕ НАМ, ГДЕ НАШЕ МЕСТО!**

В кабинете стало мертвенно тихо.

Майлз разжал пальцы. Шахматная доска соскользнула с колен и ударилась об паркет — громко, нелепо. Фигурки раскатились в разные стороны. Он не пошевелился.

Грей стоял с открытым ртом — не закрывал его несколько секунд, просто стоял, не находя ни слова, ни места куда смотреть.

Хендерсон в углу выпрямился и поджал губы.

Камминг не шевельнулся. Он смотрел на Лизи — долго, с тем выражением, которое невозможно прочитать, потому что в нём было слишком много всего сразу.

Прошло несколько секунд. Потом ещё несколько.

Потом он поднялся. Медленно. Прошёл к столу. Взял со стола пресс-папье — повертел в руках, поставил обратно. И сказал — тихо, почти себе под нос:

— Сдаюсь.

Он посмотрел на Лизи — без улыбки, без тепла, прямо.

— Ладно, мисс Ватсон. Я вижу — вы действительно готовы.

Потом повернулся к Грею — коротко, без слов, тем взглядом, после которого не спорят.

— Грей. Оформите документы. Мисс Ватсон — старший группы.

Грей молчал. Секунду. Другую.

— Мэнсфилд, я должен...

— Документы, Грей.

Короткий выдох. Кивок — тот, которым принимают решения, с которыми не согласны, но которые уже приняты без них.

Камминг повернулся к ним обоим.

— Ваша легенда — сестра и брат. Вы, мисс Ватсон, — старшая, сопровождаете брата на лечение в Швейцарию. Мистер Кэмпбелл — младший. Студент. Болезненный. — Взгляд на Майлза. — Не от мира сего.

Майлз кивнул. Эта роль явно не требовала от него усилий.

— Сорок восемь часов на подготовку. Полковник Грей введёт вас в курс дела. — Камминг посмотрел на Лизи последний раз — долго, с тем выражением, которое она не умела читать, но которое не было ни жалостью, ни холодностью. — И помните: от вас зависит жизнь одного из наших лучших людей.

Они вышли в коридор.

Майлз шёл рядом с шахматной доской под мышкой — неловко, одна фигурка торчала из кармана пиджака. Лизи шла рядом. Оба молчали.

Это было другое молчание — не то, которое бывает, когда нечего сказать. А то, которое бывает, когда слишком много всего произошло за слишком короткое время, и слова пока не успевают за этим.

На лестнице Майлз остановился.

Лизи остановилась тоже. Посмотрела на него.

Он стоял, глядя на доску в руках — как будто шахматная задача из приёмной всё ещё была где-то рядом, только доска стала другой. Поправил очки. Потом поднял взгляд на неё.

— Я не умею стрелять, — сказал он.

— Я знаю.

— И вообще... — он сделал неопределённый жест свободной рукой, обводя им пространство коридора, лестницы, всего что только что произошло за закрытой дверью. — Я математик.

— Я знаю, — повторила она.

— Я просто хотел, чтобы вы понимали.

— Понимаю.

Он кивнул. Снова поправил очки — уже второй раз за минуту, хотя они не съезжали.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Тогда хорошо.

Они пошли вниз. Лизи шла и думала о том, как странно чувствует себя человек, который только что согласился на что-то необратимое — и ещё не знает, как именно это изменит всё. Ноги шли, ступени кончались.

Она покосилась на Майлза. Тот шёл, глядя прямо перед собой, чуть ссутулившись — с выражением человека, который только что сделал ход в шахматной партии и теперь ждёт ответного.

Отец жив. Он ждёт. И он знал, что она придёт — знал настолько точно, что поставил это единственным условием.

Это была не слабость — запросить дочь вместо офицера. Это было единственное, в чём он был уверен.

Впереди была дубовая дверь — тяжёлая, с медными петлями. За ней — Лондон. За Лондоном — всё остальное.

Глава их прежней жизни была закрыта.

Глава 21. Сорок восемь часов

Комната, куда привёл их полковник Грей, находилась в глубине здания — без окон, с одной тусклой лампой под зелёным абажуром над большим столом. Стены были заняты картами Европы — огромными, подробными, испещрёнными пометками и линиями, нанесёнными красным и синим. Пахло старой бумагой, клеем и чем-то неуловимо металлическим.

Это было не место для разговоров. Это был мозг войны, которая ещё не началась.

Грей встал у стола. Развернулся к ним — лицо усталое, без лишних эмоций.

— С этой минуты, — начал он, — для ваших коллег в Министерстве и в Кембридже вы откомандированы в распоряжение Военного ведомства. Официальная цель — анализ нарушения торговых путей в связи с кризисом на Балканах. Бумаги уже на столах ваших начальников. Никто не будет задавать лишних вопросов. Вы исчезнете из их поля зрения.

Он положил на стол два тонких досье.

— Ваша легенда. С этого момента вы — Элеонора и Джулиан Вэнс. Дети британского дипломата, служащего в Мадриде. Ваша мать серьёзно больна и находится в санатории в Швейцарии. Вы направляетесь к ней.

Он посмотрел на Майлза — долго, оценивающе.

— Мистер Кэмпбелл. Вы — Джулиан. Вам двадцать два, но вы выглядите младше. Это мы используем. Блестящий студент, изучающий античную историю. Слабое здоровье, недавно перенесли плеврит. Замкнуты, погружены в книги, мир вас мало интересует. Вам придётся немного подыграть. Изобразить физическую слабость.

Майлз поправил очки.

— Физическую слабость, сэр? Или интеллектуальную?

Грей едва заметно усмехнулся.

— Физическую, мистер Кэмпбелл. С вашей интеллектуальной составляющей проблем нет.

Он повернулся к Лизи.

— Мисс Ватсон. Вы — Элеонора. Рано повзрослевшая — из-за болезни матери и оторванности отца. Вы опора этой маленькой семьи из двух человек. Вы решаете все вопросы. — Он помолчал. — Полагаю, с этой ролью у вас проблем не возникнет.

Лизи приняла это без ответа. Роль была написана для неё слишком точно — и именно поэтому было неприятно.

— Ваши документы, билеты и багаж будут доставлены сегодня вечером. В вашем багаже, мисс Вэнс, — Грей произнёс псевдоним без малейшей паузы, как будто она уже стала этим именем, — вы найдёте тетрадь. — Он положил на стол тонкую тетрадь в сером переплёте. — Это ваша общая жизнь за последние десять лет. Имена, даты, школы, болезни, любимые блюда вашей матери, кличка вашей покойной собаки. Здесь всё.

Его взгляд стал жёстче.

— У вас есть время до прибытия в Остенде, чтобы выучить это так, чтобы рассказать во сне, если разбудят посреди ночи. До последней детали. Как только убедитесь, что знаете каждую строчку — тетрадь уничтожить. Сжечь. Пепел развеять. Любой прокол на допросе будет стоить вам обоим жизни.

Майлз, до этого слушавший спокойно, чуть побледнел. Почти незаметно — но Лизи это увидела. Пальцы на краю стола чуть сжались.

Грей подошёл к карте и взял указку.

— Завтра в девять утра вы садитесь на поезд с вокзала Виктория до Дувра. Паром до Остенде. Оттуда поездом до Кёльна. Путешествуете первым классом. Вы не прячетесь. Вы состоятельные британцы, которых застала в дороге политическая напряжённость. — Указка

скользнула по карте на запад. — Ваша цель — Радольфцелль. Небольшой городок на берегу Боденского озера. Тихое место. Курортное. Идеальное, чтобы затеряться.

Он ткнул указкой в точку на карте.

— Послезавтра, ровно в два часа дня, вы будете на Маркштатт-плац — центральная рыночная площадь города. С северной стороны её замыкает церковь Унзер Либен Фрауен. У западной стены церкви — ряд скамеек под липами. Вторая скамейка от угла. Ваш проводник, Жан-Люк, будет сидеть там и читать «Кандида» Вольтера в красном переплёте.

Он остановился — давая им обоим представить эту картину.

— Вы подходите первыми. Мистер Кэмпбелл обращается к нему: «Простите, сударь, эта дорога ведёт в Вестфалию?» Он отвечает: «Все дороги ведут туда, если у вас достаточно оптимизма». — Грей посмотрел на Майлза. — Повторите вашу фразу.

Майлз повторил. Запнулся на «сударь».

— Ещё раз.

Повторил точнее.

— Хорошо. Если книга другого цвета — вы уходите. Если он даёт другой ответ — вы уходите. Если рядом с ним кто-то есть — вы уходите. Молча. Без объяснений. Без оглядки.

Лизи чуть наклонила голову.

— Сэр. Границы пока открыты. Никаких официальных ограничений для британских подданных нет. Зачем нам проводник?

Грей посмотрел на неё — с тем выражением, с которым смотрят на человека, задавшего правильный вопрос в правильный момент.

— Потому что «пока» — ключевое слово. — Он подошёл к карте. — После двадцать восьмого июня австрийские власти ввели особый режим досмотра в Галиции. Формально — меры безопасности в связи с политической напряжённостью. По существу — фильтрация. Иностранцы, въезжающие в Лемберг без очевидной деловой цели, проходят собеседование. Ваша легенда везёт вас в Швейцарию. Лемберг — это отклонение от маршрута, которое нужно объяснять каждому жандарму на каждом пропускном пункте. Жан-Люк знает, через какие посты ходить. Знает, кто дежурит на восточном въезде и сколько стоит его внимание.

Он немного помолчал — давая это осесть.

— Кроме того, австро-венгерские железные дороги частично переведены на приоритетный режим. Часть гражданских маршрутов закрыта без предупреждения, часть изменена. Человек, знающий объездные пути и способный объяснить задержку на немецком, польском и украинском — это разница между тем, доберётесь вы до Лемберга вовремя, или вас снимут с поезда для проверки в Перемышле.

Он посмотрел на Лизи прямо.

— Вы и сами это знаете, мисс Ватсон. Вы читали те же сводки, что и мы. Галиция сейчас — не та, что была полгода назад.

Лизи ничего не ответила. Он был прав. Она читала транспортные отчёты. Видела, как смещались маршруты, как росли объёмы военных грузов под скучными ведомственными пометками. Знала это как цифры на бумаге. Теперь это была территория, по которой ей предстояло идти.

Майлз поднял взгляд от карты.

— Сэр. Если проводник знает только свою часть маршрута — как мы можем быть уверены, что он сам не под наблюдением?

— Не можете, — сказал Грей. — Именно поэтому вы подходите первыми, а не он. Жан-Люк сидит и читает. Если за ним следят — он просто человек на скамейке с книгой. Ничего больше. Инициатива у вас — значит, контроль у вас. — Он выдержал короткое молчание. — Его задача — довести вас до Лемберга. Там его работа заканчивается. Он не знает ни вашей цели, ни с кем вы встречаетесь. Это защищает его. И вас — тоже.

— Сэр, — заговорила Лизи, — после того как контакт с резидентом состоится и мистер Кэмпбелл расшифрует материалы — как они передаются в Лондон?

— Британское консульство в Киеве. Институтская улица, дом четыре. — Грей говорил наизусть, без бумаги. — Вице-консул Артур Хэммонд. Только ему. Только лично. Из рук в руки. Никакой почты, никакого телеграфа. При передаче — одно слово для верификации подлинности. — Он сделал ударение на каждом слоге. — «Боденское». Это пароль. Хэммонд его знает.

— Киев — это не близко от Лемберга, — сказал Майлз.

— Двести сорок километров через Броды. При нынешнем расписании — восемь-девять часов. Выполнимо. — Грей посмотрел на него. — Если британское консульство по каким-либо причинам окажется недоступным — французская миссия, улица Лютеранская. Атташе Жорж Дюпон. Только ему. Тот же пароль. Это крайний случай. Приоритет — всегда Хэммонд.

— Сэр, — снова сказала Лизи. — Резидент на маршруте. Если он не появился в назначенное время — ждём следующего выхода?

— Да. Каждый вторник и пятницу, в два часа дня, от Пороховой башни вдоль восточной стороны парка «Высокий Замок». — Грей посмотрел на неё. — Если два выхода подряд — резидент не появился. Значит, произошло что-то серьёзное. Вы уходите. Не ждёте третьего раза.

Лизи кивнула.

— После передачи материалов Хэммонду или Дюпону, — продолжил Грей, — миссия выполнена. Все трое возвращаетесь. Маршрут — Одесса, Константинополь, Греция. Нейтральные территории. По отдельности, с интервалом в сутки. Вместе вы представляете единую цель. По отдельности — каждый просто один человек.

Он выдвинул ящик стола и достал тяжёлый кожаный кошелёк.

— Здесь ваши дорожные расходы. Фунты, немецкие марки, австро-венгерские кроны. Сумма достаточная, чтобы не вызывать подозрений. Тратьте расчётливо. Все отчёты — по возвращении.

Он поставил кошелёк на стол рядом с досье.

— Если вернётесь.

Это было сказано без драматизма. Просто факт, который должен был прозвучать вслух.

Лизи смотрела на карту. На красную линию от Радольфцелля через Лемберг к Киеву. На то место, где линия обрывалась.

Она думала не об отце — она запретила себе это сейчас. Думала о тетради с чужой жизнью, которую предстоит выучить наизусть и сжечь. О вторнике и пятнице. О второй скамейке от угла под липами у западной стены церкви. О том, что Майлз будет ждать в отеле — и она пойдёт одна.

О том, что никакого запасного плана нет.

Грей посмотрел на часы.

— Теперь вы оба повторите мне всё. По порядку. От начала до конца. Каждую деталь.

Лизи и Майлз переглянулись — коротко, впервые с тех пор, как вошли в эту комнату.

Лизи начала — ровно, без бумаги.

— Завтра в девять утра. Вокзал Виктория, поезд до Дувра. Паром до Остенде. Поезд до Кёльна, первый класс. Радольфцелль, Боденское озеро. Послезавтра, два часа дня. Маркштатт-плац, церковь Унзер Либен Фрауен, западная стена, вторая скамейка от угла. Жан-Люк, «Кандид» в красном переплёте. Мы подходим первыми. Мистер Кэмпбелл спрашивает про Вестфалию.

Она посмотрела на него.

Майлз поправил очки.

— «Все дороги ведут туда, если у вас достаточно оптимизма», — произнёс он. Теперь без запинки. — Если что-то не сходится — уходим молча. Если всё верно — Жан-Люк доставляет нас до Лемберга. Дальше самостоятельно. Отель «Жорж», два отдельных номера.

— Каждый вторник и пятницу, в два часа дня, — продолжила Лизи, — я выхожу одна на маршрут от Пороховой башни вдоль восточной стороны парка «Высокий Замок». Мистер Кэмпбелл ждёт в отеле. Резидент видит меня — и сам инициирует контакт, когда сочтёт безопасным. Если два выхода подряд — резидент не появился. Уходим. Не ждём.

— После контакта, — подхватил Майлз, — я работаю с материалами. Шифр «Tarig». Сколько нужно — столько работаю, без сна если придётся. После расшифровки — Киев. Институтская улица, дом четыре. Вице-консул Хэммонд. Лично. Пароль — «Боденское».

— Если британское консульство недоступно, — добавила Лизи, — французская миссия, улица Лютеранская. Агташе Дюпон. Тот же пароль. Приоритет — всегда Хэммонд.

— После передачи, — закончила она, — возвращение. Одесса. Константинополь. Греция. По отдельности, с интервалом в сутки.

Грей слушал. Не перебивал.

Когда она замолчала — коротко кивнул.

— Правильно.

Больше ничего не добавил. Посмотрел на часы.

— У вас чуть больше суток. Приведите дела в порядок. Скажите то, что должны сказать. — Он взял досье со стола и протянул каждому. — Но помните, кем вы стали с этой минуты. Элеонора и Джулиан Вэнс. Лизи Ватсон и Майлз Кэмпбелл для этого мира временно перестали существовать.

На ступенях Уайтхолл-корт они остановились.

Майлз держал досье под мышкой — неловко, как всё, что не было книгой или шахматной доской. Он посмотрел на Лизи. Она посмотрела на него. Несколько секунд они просто стояли так — два человека, которые час назад были незнакомы, а теперь были связаны чем-то, для чего у обоих пока не было слов.

Майлз первым отвёл взгляд.

— Значит... до завтрашнего утра, Элеонора, — произнёс он — будто пробовал имя на вкус и находил его неудобным.

— До завтра, Джулиан, — ответила Лизи с лёгкой горькой иронией. — Постарайся не простудиться. И не забудь свои книги.

Он кивнул. Поправил очки. Сделал шаг — и остановился.

— Мисс Ватсон, — сказал он, не оборачиваясь.

— Да.

— Мы справимся. — Короткое молчание. — Я имею в виду — математически это решаемая задача. Я проверил в голове, пока Грей говорил.

Лизи смотрела на его спину.

— Я знаю, — сказала она.

Он кивнул ещё раз и пошёл. Она смотрела, как он удаляется — чуть сутулый, с досье под мышкой, — пока не свернул за угол.

Потом подняла руку, подзывая кэб.

В кэбе она не думала. Или думала — но не связно, не словами: отдельные образы, которые налетали и уходили. Тетрадь в сером переплёте. Вторая скамейка от угла. Восемь-девять часов через Броды. Маршрут вдоль восточной стороны парка. Она одна — Майлз ждёт в отеле.

За окном проплывал Лондон. Величественные фасады Уайтхолла сменились обычными улицами с обычными людьми — торговец, закрывающий ставни, женщина с корзиной, двое мужчин у дверей паба, которые смотрели на небо и, судя по жестам, обсуждали погоду. Лизи

смотрела на них как через стекло — они были там, она была здесь, и между этими двумя мирами что-то случилось сегодня, что уже нельзя было отменить.

Я могу не вернуться.

Мысль пришла тихо, без паники — просто как факт, который она разрешила себе принять. И сразу за ней другая, острее: если уйду — я не узнала. Не успела. Есть вещи, которые я видела только снаружи.

Она не стала додумывать. Просто сказала кучеру:

— Клеркенвелл-роуд. Булочная «Золотой Хлеб».

Колокольчик над дверью звякнул — тихо, как всегда. Но Лизи почувствовала его всем телом.

Внутри пахло дрожжами, корицей и остывающим хлебом. Тёплый воздух после улицы лёг на кожу сразу, без перехода. За прилавком горел газовый рожок, и в его свете всё выглядело чуть медленнее, чем было на самом деле — мука на деревянной доске, медные кольца весов, стопка бумаги для заворачивания у края стойки.

Миссис Бэнкс выглянула из-за занавески и всплеснула руками.

— Лизи, деточка! Каким ветром? Ты бледная совсем. Генри, иди сюда, смотри кто пришёл!

Генри появился из подсобки. На фартуке — след муки поперёк живота, руки ещё тёплые от теста — она это знала ещё до того, как он протянул ей руку. Он посмотрел на неё — и что-то в его лице изменилось. Не встревожилось — просто стало внимательнее, тише, как бывает у людей, которые умеют видеть.

Он ничего не спросил. Просто смотрел.

И от этого взгляда — тихого, без требований — у Лизи что-то сдвинулось в груди.

— Я гуляла неподалёку, — сказала она.

Ложь вышла ровно. Первая из многих, которые ей предстояли. Она это поняла в тот же момент — и не позволила этому пониманию появиться на лице.

— Генри, ты не проводишь меня до дома? Уже темнеет.

Они свернули на её улицу.

На крыльце стоял человек в форме посыльного — молодой, с заученно-пустым лицом и кожаной сумкой через плечо. Такие люди умели делаться невидимыми — не потому что были неприметными, а потому что несли казённое и все предпочитали на них не смотреть.

— Мисс Ватсон?

— Да.

— Доставка из Военного ведомства. Распишитесь.

Он протянул бланк. Получив подпись, поставил на ступени небольшой дорожный саквояж и плотный конверт с гербовой печатью — и исчез за углом так быстро, как исчезают люди, которым не положено оставаться.

Генри смотрел на саквояж.

— Военное ведомство, — сказал он. Не вопрос — повторение вслух, чтобы слова встали на место. — Лизи, что это значит?

— Рабочие документы. — Она подняла саквояж. — Мне нужно уехать. В командировку.

Генри не сразу ответил. Смотрел на неё — с тем выражением, которое бывает, когда хочется возразить, но ещё не подобрал слов.

— Командировку, — повторил он наконец. — Лизи, ты только что вернулась из Парижа. Ты была там — сколько? Почти три недели. — В его голосе не было злости, только растерянность, почти обида ребёнка, которому не объясняют. — И теперь снова куда-то? Сразу?

— Я знаю, — сказала она.

— Ты знаешь. — Он чуть развёл руками. — Это всё?

— Генри...

— Я не сержусь. — Он произнёс это так, что было понятно — немного всё-таки сердится. — Я просто... не понимаю. Что за работа такая? Что за командировки? Ты в архиве работаешь, Лизи. Архивисты не ездят по командировкам с доставками из Военного ведомства.

Лизи смотрела на него. На след от фартука на животе, который он так и не заметил. На то, как он держит руки — сложенными перед собой, как держат их люди, которые не знают, что делать с тем, что чувствуют.

— Войдёшь? — сказала она.

Он помолчал. Потом кивнул.

Она отперла дверь. Первой вошла сама, поставила саквояж у стены, зажгла лампу в прихожей. Жёлтый свет лёг на крючок для пальто, на зонт в углу, на всё то, что она видела каждый день и никогда не замечала. Генри вошёл следом, прикрыл дверь. Остановился у порога.

В доме было тихо. Только лампа негромко шипела, пока фитиль разгорался.

— Уехать надолго? — спросил он. Тихо, без давления. Просто — спросил.

— Не знаю. Может, несколько недель. Может, дольше. — Она обернулась к нему. — Это сложная работа, Генри. Я не могу объяснить.

— Ты никогда не можешь объяснить.

— Нет.

Он стоял у порога и смотрел на неё — с той смесью любви и беспомощности, которую она видела в нём и раньше, но сейчас она почему-то была острее, почему-то резала.

Лизи подошла к нему. Положила руки ему на плечи.

— Генри. Посмотри на меня.

Он посмотрел.

— Я не хочу, чтобы ты думал, что я уехала — и не успела тебе сказать.

Он не сразу понял. Она видела, как это доходит до него — медленно, как доходит свет от дальней звезды. Что-то в его лице изменилось — стало тише, серьезнее, и в то же время теплее.

Он не спросил — что именно она хотела сказать. Он просто понял.

Лизи приподнялась на цыпочки и поцеловала его.

Не так, как целовала раньше. Этот поцелуй был другим — в нём было всё то, что она не умела и никогда не позволяла себе говорить словами. Он замер на долю секунды — потрясённый, не поверивший, — а потом его руки обхватили её и прижали к себе крепко, без осторожности.

Когда она отстранилась, его дыхание было другим. Он отступил на полшага — не от неё, а от того, что только что произошло — и держал её за плечи, держал, как держат что-то, что боятся выпустить.

— Лизи... — Он не закончил. Смотрел на неё. В его глазах была борьба — и то, что побеждало в этой борьбе, не имело названия, которое он мог бы произнести вслух.

Она сделала шаг к нему.

— Будь со мной, Генри, — сказала она. Тихо. Без колебания. — Сегодня. Эту ночь. Пожалуйста.

Она взяла его за руку.

Не порывисто — просто взяла, как берут то, что давно своё, и повела за собой из прихожей. Он шёл следом, и она чувствовала в его пальцах не сопротивление, а вопрос — тихий, без слов, который он не стал задавать вслух.

В гостиной горела одна лампа. Тени были длинными и мягкими, они лежали на полу и стенах без резких краёв, как бывает, когда свет не борется с темнотой, а просто существует рядом с ней.

Лизи остановилась посреди комнаты и обернулась к нему.

Генри смотрел на неё — так, как смотрят, когда хотят запомнить. Не потому что бояться потерять. А потому что понимают: то, что происходит, происходит только один раз именно так.

— Лизи, — сказал он тихо. — Ты уверена?

Она подумала об этом слове. Уверена. Люди, которые уверены, не задают себе этого вопроса. Она задала — и ответ был тихим, ровным, без колебания.

— Да.

Он не двинулся с места. Только смотрел на неё — с той смесью нежности и растерянности, которая бывает у людей, когда жизнь вдруг даёт им то, о чём они не решались просить.

— Я не хочу, чтобы тебе потом было... — он не закончил.

— Не будет, — сказала она.

Внутри у неё было странно тихо. Не пусто — именно тихо, как бывает перед чем-то важным, когда все лишние мысли уходят и остаётся только то, что главное. Она думала — быстро, как думают люди её склада, — о Маргарете. О том, что та говорила долгим вечером у камина. Стыд — это чужое мнение, которое ты носишь как своё. И ещё: Всё, от чего я берегла своё сердце — это и была жизнь.

Лизи берегла. Долго. Осторожно. Умно.

И сегодня — перестала.

Она потянулась к пуговицам на платье — медленно, не отводя от него взгляда. Пальцы чуть дрожали — не от страха и не от неуверенности, а от того, что чувств было слишком много для одного вечера, и тело это знало раньше головы.

Первая пуговица. Вторая.

Он смотрел. Не отворачивался и не останавливал её — просто смотрел, и в этом взгляде было что-то такое, что она не умела назвать, но что чувствовала как тепло на коже.

Когда платье соскользнуло с плеч и упало к ногам, он сделал шаг к ней.

Не порывисто. Просто — шаг. И обнял её — осторожно сначала, потом крепче, уткнувшись лицом в её волосы. Она почувствовала его дыхание — неровное, чуть учащённое, — и то, что в нём держалось между долгом и любовью, между воспитанием и правдой, наконец отпустило.

— Я тебя люблю, — сказал он в её волосы. Не торжественно. Просто — как называют вещь, которая давно есть, но которую ещё не произносили вслух.

Лизи закрыла глаза.

Она думала: вот оно. Вот что это такое. Не страсть из книг, не то, о чём пишут с завитушками. Просто — его дыхание, его руки, и то, что она не одна в этой комнате, и то, что завтра будет то, что будет, но сейчас — вот это.

— Я знаю, — сказала она.

Он отстранился ровно настолько, чтобы посмотреть на неё. Его лицо в полумраке было серьёзным и немного испуганным — не ею, а тем, насколько это было важно.

— Ты не пожалеешь? — спросил он.

— Нет, — сказала она. — Никогда.

Он кивнул. И больше не спрашивал.

Она взяла его ладонь — ту самую, которую он держал в её руке всю дорогу от булочной, — и не отпустила. Просто повела его за собой, туда, где темнее и тише, где единственным светом оставалась та тонкая полоса от фонаря на улице, что пробивалась сквозь неплотно задёрнутые шторы и ложилась на пол узкой дорожкой.

Последнее, что она подумала отчётливо и словами, прежде чем мысли перестали быть мыслями — было не о задании, не о Лемберге, не о маршруте вдоль восточной стороны парка.

Она подумала: если что-то случится — я успею. Я не уйду, не зная.

И это было правдой — простой, тихой, её собственной.

За шторами шумел Лондон, живущий своим вечером. Где-то далеко, на другом конце континента, в небольшой комнате с облупившейся штукатуркой ждал человек, от которого она была частью. Завтра это всё станет важным снова.

Но сейчас — был только этот свет. Это тепло. Этот человек рядом.

И больше ничего не нужно было.

Глава 22. Сестра и брат

26 июля 1914 года. Лондон

Она проснулась от тишины.

Не той гулкой, давящей тишины пустого дома — от другой. Мягкой, обволакивающей, в которой слышалось лишь ровное тёплое дыхание рядом.

Генри спал.

Бледный утренний свет просачивался сквозь щель в тяжёлых шторах, ложась на его лицо, на разметавшиеся по подушке тёмные волосы, на безмятежную линию губ. Он спал глубоко, и в этой его беззащитности было что-то пронзительное — то, что она не умела назвать и не пыталась.

Лизи лежала неподвижно, слушала его дыхание.

Внутри было тихо.

Не пусто — именно тихо. Она ждала чего-то другого: сожаления, страха, того смятения, о котором пишут в книгах. Ничего этого не было. Было только странное, ровное удивление: она та же. И не та же. Оба утверждения были одновременно правдой, и она не стала выбирать между ними.

Потом пришло другое.

Не как враг — просто как другой слой реальности, существующий рядом и параллельно. Тетрадь в сером переплёте. Вокзал в девять утра. Майлз с его шахматной доской. Маркштатт-плац, вторая скамейка от угла, «Кандид» в красном переплёте.

Она осторожно высвободила руку — медленно, миллиметр за миллиметром. Он что-то пробормотал во сне и повернулся на другой бок. Она замерла. Подождала. Его дыхание снова стало ровным.

Встала.

Холодный паркет обжёг ступни. Она подобрала платье с пола, вышла в прихожую, прикрыв дверь. Оделась в темноте, на ощупь — пуговицы, пояс, волосы собрала наспех. В зеркале над умывальником на неё смотрел человек, которого она узнавала и не узнавала одновременно.

Саквояж стоял там, где она его оставила. Она проверила замки. Достала тетрадь в сером переплёте. Положила в верхнее отделение. Закрыла.

Потом взяла со стола лист бумаги и карандаш.

Сидела над чистым листом дольше, чем нужно было бы. Не потому что не знала что написать — потому что знала слишком хорошо, и именно это делало каждое слово недостаточным. Она не могла написать правду. Не могла написать ложь. Написала то, что было между ними — узкое, как щель в неплотно задёрнутых шторах, но всё же свет.

«Эта ночь была настоящей. Всё остальное — тоже. Есть вещи, которые я не могу тебе сказать — не потому что не хочу, а потому что не имею права. Пока. Прости меня за эту неизвестность. Береги себя.»

Перечитала. Сложила. Оставила на прикроватном столике — так, чтобы он увидел сразу, когда откроет глаза.

Последний взгляд от двери — на его плечо, на подушку, на то, как он дышит. Она позволила себе одну секунду. Только одну.

Потом вышла.

Генри проснулся от холода.

Не сразу понял почему. Просто что-то было не так — в воздухе, в тишине, в том, как лежала подушка рядом. Он протянул руку — и почувствовал простыню: холодную, уже холодную, как бывает, когда человек ушёл давно.

Он сел.

Комната была пустой. Не так, как бывает пустой комната, когда человек вышел на минуту. По-настоящему пустой — той особой пустотой, которую не перепутаешь ни с чем.

На прикроватном столике лежал сложенный лист бумаги.

Он взял его. Развернул. Читал медленно — не потому что текст был длинным, а потому что каждое слово нужно было пропустить через себя отдельно. Настоящей. Не имею права. Пока. Прости меня за эту неизвестность.

«Пока.»

Он читал это слово несколько раз. Три буквы — и в них помещалось всё, чего она не смогла написать.

Он сидел так несколько минут. Записка лежала у него на коленях. За окном Лондон уже проснулся — экипаж по бульжнику, чьи-то голоса внизу, воробей на карнизе. Жизнь шла, совершенно не интересуясь тем, что происходило в этой комнате.

Потом он встал.

Оделся быстро, не глядя. Спустился вниз. Саквояж исчез. Пальто с крючка тоже. Дом был пуст и тих, как бывают тихи дома, из которых только что вышел важный человек.

Он вышел на улицу. Поднял руку.

— На вокзал Виктория. Быстро.

Виктория встретила его грохотом и паром.

Тяжёлый запах угля, металла и влажного камня смешивался с гомоном тысяч голосов. Он протиснулся сквозь толпу — мимо носильщиков с тележками, мимо семьи с горой чемоданов, мимо офицера с картонной трубкой под мышкой — и пошёл вдоль платформ, не зная точно куда, просто идя туда, куда тянуло что-то внутри.

Нашёл её быстрее, чем ожидал.

Она стояла у вагона — прямая, в дорожном костюме — и разговаривала с молодым человеком в очках. Невысокий, чуть сутулый, с книгой в руках. Лет двадцати, не больше. Смотрел на неё поверх очков с тем выражением, которое бывает у людей, не привыкших к шуму и толпе, но старающихся не показывать этого.

Генри остановился у газетного киоска.

Смотрел.

Лизи что-то говорила молодому человеку — легко, почти иронично.

— Готов, братец? — донеслось до него сквозь шум перрона.

— Кажется, да, Элеонора, — пробормотал тот, поправляя очки. — Только я никогда не был на континенте.

— Ничего. Держись за меня и делай умное лицо.

Она улыбнулась — не широко, но по-настоящему. Той улыбкой, которую Генри знал. Которую считал своей.

Что-то в нём сжалось — горячо и некрасиво, как сжимается то, чему нет хорошего названия. Он знал, что это глупо. Что он ничего не понимает. Что наверняка всё не так. Но это знание не помогало — оно просто существовало рядом со сжавшимся горячим комком и никак на него не влияло.

Он взял себя в руки. Подошёл.

В руках у него был небольшой бумажный пакет — он купил его по дороге, у лавки на углу, не очень понимая зачем. Просто не мог прийти с пустыми руками.

Она увидела его — и что-то в её лице дрогнуло. Один миг, не дольше, — и снова стало ровным.

— Я подумал... тебе в дорогу, — сказал он.

Голос вышел глуше, чем он хотел.

Она взяла пакет. На секунду их пальцы встретились — и он почувствовал, что её руки холодные. Холоднее, чем должны быть у человека, который только что был в тепле.

Его взгляд скользнул на молодого человека рядом. Тот с подчёркнутой внимательностью изучал расписание на доске — с таким видом, будто оно содержало ответы на все вопросы мироздания. Потом взгляд вернулся к Лизи — и в нём была боль, и непонимание, и что-то ещё, что родилось прошлой ночью и было растоптано этим утром.

— Это и есть командировка? — спросил он тихо. — С ним?

— Нет! — вырвалось у неё резче, чем она хотела. — Генри, нет. Это совсем не то, что ты думаешь.

— Тогда что мне думать? — его голос сорвался — совсем чуть, почти неслышно. — После сегодняшней ночи... я думал... — он замолчал, не в силах закончить. Потом заговорил иначе — тише, но от этого не мягче. — Лизи, ты не разбудила меня. Просто ушла. Я проснулся — тебя нет. Не знал где ты, что случилось, ничего. Только три строчки на бумаге. — Он смотрел на неё прямо, и в его взгляде было всё сразу — обида, злость и что-то более беспомощное, чем злость. — Я понимаю, что у тебя есть работа. Я понимаю, что ты не можешь объяснить. Но ты могла меня разбудить, Лизи. Просто разбудить. Сказать — ухожу. Я бы не стал задавать вопросов. Я умею молчать.

Она слушала. Каждое слово попадало точно — именно потому что он был прав. Она могла разбудить его. Она выбрала не делать этого.

— Я боялась, — сказала она тихо.

— Чего?

— Что не смогу уйти, если ты откроешь глаза.

Он смотрел на неё. Долго. Злость не ушла — но сдвинулась куда-то в сторону, освобождая место для чего-то другого.

— Ты в архиве работаешь, Лизи, — сказал он уже тише. — Откуда доставки из Военного ведомства? Откуда командировки? Куда ты едешь?

— Я не могу сказать.

— Ты никогда не можешь сказать.

— Нет.

Он стоял и смотрел на неё — с той смесью любви и беспомощности, которая резала именно потому, что он не давил и не требовал. Просто стоял и смотрел.

— Лизи, прости меня, — вырвалось у неё.

— За что именно? — спросил он. Не зло — устало, с той усталостью, которая бывает, когда долго держишься и вдруг перестаёшь. — За то, что ушла? Или за то, что пришла?

Это ударило точно. Она молчала.

— Я не так хотел сказать, — сказал он сразу же. — Прости. Я просто...

— Я знаю, — сказала она.

Со стороны паровоза донёсся пронзительный свисток.

Майлз покосился на них — быстро, едва заметно, поверх очков. Потом посмотрел на свою книгу. Потом снова на них. Что-то в его лице стало чуть более сосредоточенным, как бывает у человека, решающего несложную задачу.

— Я, пожалуй, займу место, — сказал он. Ни к кому конкретно. Поднял саквояж, поправил очки — и пошёл к ступеням вагона с той деловитой неловкостью, которая у него, кажется, была врождённой.

Они остались вдвоём.

Вокзал гудел вокруг — чужие голоса, чужие прощания, чужой пар над чужими вещами. Но здесь, в этом маленьком пространстве между ними двумя, было что-то отдельное от всего этого.

Генри сделал шаг к ней. Не порывисто — просто шаг, сократив расстояние до того, при котором не нужно говорить громко.

— Лизи. Не уезжай вот так. Или возьми меня с собой. Кем угодно. Я могу носить чемоданы. Я могу всё что угодно. Только не вот так.

Это был крик души — простой, беззащитный, без расчёта на эффект. Просто правда, которую он не умел спрятать.

И он почти сломал её.

Она почувствовала, как что-то внутри натянулось до предела. Ещё немного — и она скажет всё. Про отца, про Лемберг, про то, почему она не может иначе. Она открыла рот.

И закрыла.

— Я не могу, — прошептала она. В её глазах наконец блеснули слёзы — она не дала им упасть, но удержать от взгляда не смогла. — Пожалуйста, Генри. Не надо.

Он смотрел на неё — и она видела, как он принимает это. Не соглашается. Именно принимает — как принимают то, что изменить невозможно, хотя очень хотелось бы.

Она сделала шаг к ступеням. Остановилась.

Обернулась — не к нему лицом, а вполборота, глядя куда-то между ним и перроном.

— Генри.

— Что.

— У меня дома, на подоконнике в кухне — герань. — Она говорила ровно, как говорят о чём-то совсем обычном. — Я забыла попросить соседку. Засохнет, если никто не польёт.

Он не сразу ответил. Смотрел на неё.

— Польёшь иногда? — сказала она. — Ключ под ковриком.

Это была такая маленькая просьба. Такая бытовая, такая земная — среди всего что происходило на этом перроне. Именно поэтому она ударила его сильнее всего остального.

Он понял — не умом, а тем способом, которым понимают вещи без слов. Она не просила полить цветы. Она говорила: я собираюсь вернуться. Она говорила: не отпускай меня совсем. Она говорила: пусть хоть что-то живое ждёт меня дома.

Он поднял руку и очень осторожно — как берут что-то хрупкое — коснулся её щеки. Одно движение, одна секунда.

— Полью, — сказал он. Тихо. Ровно.

— Береги себя, Генри.

— И ты, Лизи.

Она повернулась и пошла к вагону — быстро, не оглядываясь, потому что знала: если оглянется, то не сможет сделать следующий шаг. Поднялась по ступеням. Проводник закрыл за ней дверь с тяжёлым щелчком.

В купе Майлз уже сидел у окна — книга лежала на коленях закрытой, он не читал. Когда она вошла, поднял взгляд.

— Всё в порядке? — спросил он, не поворачивая головы к окну.

— Да, — сказала Лизи.

Он кивнул. Открыл книгу.

Поезд дёрнулся. Медленно, с нарастающим лязгом пополз вперёд.

Только тогда она позволила себе взглянуть в окно.

Генри стоял там, где она его оставила — высокий, один, среди бурлящей толпы, с пустым бумажным пакетом в опущенной руке. Он не махал. Просто смотрел на её окно. И она увидела — как по его щеке медленно катится что-то, что он не пытался скрыть.

Перрон уплывал назад. Фигура уменьшалась — медленно, потом быстрее — пока пар и толпа и стеклянный свод вокзала не поглотили его целиком.

Лизи отвернулась. Прижалась лбом к холодному стеклу.

За окном Лондон кончился — резко, как кончается всё привычное. Пошли предместья, потом поля, потом небо, затянутое низкими июльскими облаками.
Впереди был Дувр. Паром. Остенде. Кёльн. Радольфцелль.
Она была Элеонора Вэнс.

Глава 23. Путь на Восток

27 июля 1914 года. Поезд «Лондон — Дувр»

Поезд тронулся, и перрон вокзала Виктория с одинокой фигурой Генри медленно поплыл назад — растворяясь в утреннем дыму, пока не превратился в смазанное, акварельное воспоминание. Лизи не отрывала взгляда от окна, пока последний шпиль Лондона не скрылся за пеленой тумана.

Город остался позади. Вместе с ним — её прежняя жизнь.

Вагон первого класса пах сукном, полированным деревом и угольной пылью, проникавшей сквозь щели оконных рам. Стук колёс был мерным, безразличным — он не успокаивал, а лишь отсчитывал секунды новой, чужой жизни. Мимо проносились зелёные холмы Англии, аккуратные изгороди, каменные фермы. Этот мирный, упорядоченный пейзаж казался теперь театральной декорацией, за которой скрывалась их отчаянная, рваная правда.

Майлз сидел напротив с головой уйдя в книгу — толстый том с латинскими цитатами. Лизи видела, что он не переворачивает страницу уже минут двадцать. Он не читал. Он прятался — как черепаха в панцире.

Она и сама не смотрела в окно по-прежнему. Смотрела иначе — как смотрят люди, которые перестали просто видеть и начали наблюдать. Двое в конце вагона: мужчина средних лет с газетой, женщина с маленьким чемоданом. Газету мужчина держал правильно, читал исправно — слишком ровно для человека, которого что-то заинтересовало. Проводник, прошедший мимо дважды за десять минут. Дверь купе напротив, приоткрытая ровно настолько, чтобы видеть коридор.

Это уже начинается, — подумала она. Или мне только кажется? И как я узнаю разницу?

Именно это было страшнее всего. Не конкретная угроза — а невозможность отличить угрозу от фона.

Она нарушила молчание первой.

— Удобно, Джулиан? Может, хочешь чаю?

Он вздрогнул, оторвавшись от книги. Его глаза за толстыми линзами казались растерянными.

— Нет, благодарю, Элеонора. Я... я повторяю маршруты римских легионов в Галлии. Удивительно, насколько их логистика была продуманной.

— Надеюсь, наша будет не хуже, — тихо ответила Лизи.

Он не уловил иронии.

— О, я уверен, полковник Грей всё предусмотрел. Он кажется очень... компетентным.

Лизи промолчала. Она смотрела на этого гениального, наивного человека и впервые в полной мере осознала то, что старалась не называть словами с самого утра. Она отвечала не только за миссию. Она отвечала за него. За его очки, за его латинские цитаты, за его неумение держать лицо когда нервничает. За всё это — она.

Скрипнула дверь купе.

Вошёл проводник в сопровождении человека в строгом штатском костюме. Взгляд последнего не скользил — впивался. Изучал лица с той профессиональной методичностью, которую не спутаешь с простым любопытством.

— Ваши билеты и документы, мэм, сэр.

Лизи спокойно протянула паспорта. Внутри — ровно, почти пусто. Она не позволила себе почувствовать ничего, пока это было опасно.

Человек в штатском взял документы. Листал медленно, почти с наслаждением.

— В Швейцарию, мисс Вэнс? — голос ровный, безразличный. — В такое беспокойное время. Ваша матушка, должно быть, очень больна, раз вы решились на столь... поспешное путешествие.

Это был не вопрос. Это был выстрел. Первый.

Внутри всё на миг обвалилось, как подтаявший грунт. Она вцепилась пальцами в ткань саквояжа, сохраняя на лице маску полного безразличия.

— Именно поэтому мы и спешим, сэр, — ответила она. Голос полон сдержанного достоинства, ни на полтона выше или ниже нужного. — Мы надеемся успеть, пока дороги ещё открыты.

Краем глаза она видела Майлза — он начал теревить край книги. Не надо, — думала она. Не надо, Джулиан. Руки на колени.

Человек долго смотрел на неё. Потом на Майлза. Потом вернул документы.

— Счастливого пути.

Когда дверь закрылась, Лизи не двинулась с места. Сидела прямо, смотрела в окно ещё секунд тридцать — пока шаги в коридоре не стихли. Только тогда позволила себе выдохнуть.

По спине струился холодный пот.

Она посмотрела на Майлза. Он был бледен — не смертельно, но заметно. Он смотрел на неё вопросительно, почти умоляюще — как смотрят на человека, который знает ответ, которого сам ты не знаешь.

— Всё в порядке, — сказала она тихо. По-английски — они были в британском вагоне, это допускалось. — Но руки. Майлз. Руки не должны теревить ничего.

Он посмотрел на свои пальцы. Положил ладони на колени.

— Я не заметил.

— Именно поэтому я говорю.

Он помолчал.

— Это был... проверяющий?

— Возможно. А возможно — просто педантичный таможенник. — Она повернулась к окну. — Вот в этом и состоит сложность. Мы не будем знать наверняка. Никогда.

Майлз переварил это.

— Значит, нужно вести себя так, как будто всегда знаем.

— Именно, — сказала Лизи.

Он кивнул. Раскрыл книгу. На этот раз — перевернул страницу.

На пароме, пересекавшем Ла-Манш, она вышла на палубу одна.

Ветер трепал волосы и бросал в лицо солёные брызги. Серые беспокойные волны шли низкими барашками — не шторм, но и не штиль. Между двумя берегами. Как они сами.

Она заметила его почти сразу. Мужчина в котелке, у правого борта. Стоял, опершись на поручень, и смотрел в их сторону — туда, где она остановилась.

Слежка или случайность?

Она не стала смотреть на него прямо. Достала из кармана платка, промокнула лицо — естественное движение, морской ветер, брызги. Краем взгляда продолжала наблюдать.

Мужчина отвернулся. Закурил. Уставился в воду.

Через две минуты к нему подошла женщина с ребёнком. Он обернулся, улыбнулся — той улыбкой, которая бывает только у мужа, встретившего жену. Они заговорили. Ребёнок схватил его за руку.

Лизи медленно выдохнула.

Просто человек на пароме. Просто взгляд.

Но теперь она знала точно: так будет всегда. Каждый взгляд будет казаться ей взглядом врага. Каждое совпадение — слезкой. Это был не страх — это была новая реальность, в кото-

рой ей предстояло жить. И от которой нельзя было отдохнуть — нельзя было выключить, как выключают лампу.

Грей это знал, — подумала она. Когда говорил про Флетчера. Флетчер был предсказуем. Значит, я не должна быть предсказуемой. Я должна быть — непредсказуемо осторожной.

Французский берег показался в тумане — бледная полоса, почти неотличимая от горизонта. Она смотрела на него, и думала об отце. О том, что он делал именно это — стоял вот так, смотрел на чужие берега и учился видеть врага в каждом взгляде. И выжил. Значит, научился.

Я тоже научусь, — сказала она себе. Не вслух. Просто решила — так же тихо и окончательно, как принимают решения, которые не требуют слов.

Ночь застала их в другом поезде — мчавшемся по территории Бельгии. Тесное спальное купе, верхняя и нижняя полки, темнота за окном, прорезаемая редкими огнями далёких станций.

Майлз лежал на верхней полке.

Лизи — на нижней, не раздеваясь. Слушала стук колёс. Считала их — бессмысленно, просто чтобы занять ту часть головы, которая без работы начинала думать не о том.

— Лизи, — тихо сказал Майлз сверху.

Значит, тоже не спал.

— Что.

— Я думаю о «Таріг», — сказал он. — О структуре. У меня есть гипотеза насчёт ключевого блока. Я хотел бы её проверить, когда получу исходный материал.

— Хорошо.

— Я говорю это не потому что хочу поговорить, — продолжил он. — Я говорю это потому что... мне кажется, важно что у каждого из нас есть то, в чём мы уверены. У меня есть

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.